

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА**

**«СЛАВЕ – НЕ МЕРКНУТЬ.
ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ!»**

**Репертуарный сборник
в помощь КПУ, центрам культуры**

Махачкала 2019

«День Победы является для нас самым дорогим праздником. Тяжелым и долгим был путь к Победе. Тем величественнее всенародный подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны. Он навечно вписан в историю как самый яркий символ высочайшего патриотизма и массового героизма, братского единства и сплоченности народов нашей страны...

С первых и до последних дней войны более 180 тысяч сыновей и дочерей Дагестана совершали ратные подвиги, приближая Победу. Высоких званий Героя Советского Союза и Героя России были удостоены 62 дагестанца, 8 стали полными кавалерами ордена Славы, десятки тысяч награждены боевыми орденами и медалями. Более 80 тысяч воинов-дагестанцев не вернулись с полей сражений...

Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью о воинах, погибших во имя свободы и независимости Отчизны, отдаем дань глубочайшего уважения всем фронтовикам и труженикам тыла, с небывалым мужеством и стойкостью вынесшим на своих плечах все тяготы войны...»

**В.А. Васильев
(Из поздравления Главы Республики Дагестан
с Днем Победы, 2018)**

**«Одержанная участниками Великой
Отечественной войны Победа – это великая гордость,
благодарная память и суровое предостережение
потенциальным агрессорам...»**

**Глава РД
В.А. Васильев**

Уважаемые коллеги!

Великая Отечественная война отличалась ожесточенной вооруженной борьбой многомиллионных армий и решительным противоборством государств в экономической, дипломатической, идейно-политической, духовной и других сферах. В то время как для Советского Союза конечным ее результатом стала победа, для нацистской Германии это было сокрушительное поражение. Завершившаяся война предъявила каждой из сторон свой счет, цена которой была различной во всех отношениях, в том числе и в понимании ее итогов, последствий и уроков.

Человеческие жертвы, принесенные нашей страной на алтарь Победы, являются главной составляющей цены Великой Отечественной войны.

9 мая – один из самых любимых праздников в России и бывших странах Советского Союза. Ежегодно в этот день каждый из нас вспоминает о тех ужасах войны, которые вынесли советские солдаты, женщины, старики и дети.

Впервые введен этот праздник в 1945 году после победы советских войск над фашистами.

9 мая обеими сторонами был подписан договор безоговорочной капитуляции вермахта. В январе 1945 года СССР и ее союзники начали активное наступление на Польшу и Пруссию. Самоубийство Гитлера не сломило фашистов. Только после долгих кровопролитных боев фашистская Германия приняла поражение. И день 9 мая отныне стал Днем Победы, Днем памяти.

Сегодня в честь праздника проводят парад не только в столице нашей Родины, но и во всех городах. В этот памятный для всех нас день все: от мала до велика склоняют головы перед теми, кто подарил нам жизнь и мирное небо, а также перед теми, кто по сей день защищает и бережет нас от войны.

Стало доброй традицией в День победы идти в строю Бессмертного полка. Это стало международным общественным гражданско-патриотическим движением по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники этого движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников – ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.

Подвиг и жизнь поколения Победителей воспитывают детей, внуков и правнуков защитниками мира и созидателями процветания нашей страны. И все это будет, пока из поколения в поколение благодарная Россия будет помнить и следовать заветам отцов и дедов.

В преддверии празднования 75 годовщины Великой Победы Министерство культуры РФ объявило Всероссийскую выставку-смотр «Салют Победы», 2019 г. Ответственным лицом выставки-смotra является куратор, на которого возлагается создание общей концепции проекта. Проект предполагает целенаправленное продвижение определенной идеи. Она должна художественными средствами пропагандировать героическую историю Отечества, воспитывать уважение к памяти его защитников, способствовать сохранению национальных традиций как основы патриотизма граждан.

Необходимым условием участия во Всероссийской выставке-смотре «Салют Победы» является требование представить работы российских художников-любителей на патриотическую тематику, созданные за последние пять лет (с 2015 по 2020 годы). Возможные темы произведений для художников-любителей:

- Исторические сюжеты: хранители родной земли, персонажи эпосов и былин, древние крепости, города, битвы на границах, освобождение от чужеземного ига, строительство российской армии, появление морского флота, отражение наполеоновского нашествия и т.п.

- Батальные сцены: оборона, наступление, танковые, воздушные и морские бои.

- Портреты солдат, военачальников, генералов, маршалов, ветеранов, вдов, медсестер, сынов полка, семейные портреты и т.д.

- Жанровые сцены. Например, солдаты на позициях, в госпиталях, встреча войск населением,

служба партизан, отдых между боями, труд в тылу, тяжелый военный быт, празднования побед. Послевоенная жизнь: возвращение солдат с фронта, быт инвалидов, восстановление народного хозяйства, труд на земле, строительство домов и заводов, встречи ветеранов, беседы ветеранов с детьми и внуками и т.д.

- Сцены из жизни современной армии, армейские будни, локальные войны.

- Мирная жизнь новых поколений россиян, преемственность старого и нового поколений. Победы нашей страны в других невоенных областях (спорт, географические открытия, медицина и др.).

- Морские виды с военными кораблями.

- Сцены освоения космоса.

- Виды городов-героев и городов, на территории которых проходили бои. Ландшафты с памятниками и стелами в память о войне и погибших.

- Пейзаж, натюрморт и лубок.

В произведениях декоративно-прикладного искусства также должна быть отражена военно-патриотическая тематика или национальная символика. *(Смотри подробно информацию о выставке-смотре «Салют Победы», 2019 г. на сайте МК РФ)*

На протяжении XX века наша страна дважды стояла у истоков крупнейших перемен в облике мира.

Так было в 1917 г., когда победа Октября возвестила о вступлении человечества в новую историческую эпоху. Так было в 1945 г., когда разгром фашизма, решающую роль в котором сыграл Советский Союз, поднял могучую волну социально-политических

изменений, прокатившуюся по всей планете, привел к укреплению сил мира во всем мире.

Тем грандиознее, тем величественнее предстает перед миром подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Этот подвиг вошел в историю и не забудется никогда.

Репертуарный сборник к Дню Великой Победы посвящен исторической памяти о суровых испытаниях, выпавших на долю наших отцов и дедов. Это второй сборник, вышедший вслед за сборником «Дети Дагестана читают стихи о Родине».

Мы продолжаем в Год театра и в преддверии 9 мая чтение художественных произведений о войне, в частности, прозы, с листа. Дети должны знать и читать произведения о войне, чтобы память о героях не померкла. В сборник «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» вошли отрывки из произведений писателей-соотечественников, фронтовиков – Б. Васильева, В. Быкова, Ю. Бондарева, Д. Гранина, К. Симонова, М. Шолохова и наших земляков – Э. Капиева, Х. Авшалумова.

Бессмертный полк опять в строю
Участствует в торжественном параде,
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено к награде...

Вечная память и слава героям войны!..

ЧИТАЕМ С ЛИСТА ПРОЗУ О ВОЙНЕ...

История не знает более чудовищных преступлений, чем те, которые совершили гитлеровцы. Фашистская орда превратила в руины десятки тысяч городов и деревень нашей страны. Они убивали и истязали советских людей, не щадя женщин, детей, стариков.

Годы Великой Отечественной войны были исключительно своеобразным и ярким периодом в развитии советской литературы. В тяжелейших условиях ожесточенной борьбы с врагом было создано немало произведений, навсегда оставшихся в народной памяти.

Это время было ознаменовано также выдающимся мужеством тысяч писателей-фронтовиков. Около четырехсот литераторов погибли в боях за освобождение своей родины.

*В память о событиях в период Великой Отечественной войны и тех, кто беззаветно защищал Родину, предлагаем рубрику **«Читаем с листа прозу о войне»**.*

Надеемся, что учащиеся образовательных учреждений, перечитывая страницы военной прозы, еще раз вспомнят ее героев.

БЫКОВ В.В.

Быков Василь (Василий Владимирович) родился 19 июля 1924 г. в деревне Череновщина Витебской области. В 1941 г. Быков – студент Витебского художественного училища добровольно уходит на фронт. Прошел всю войну, закончив ее в Австрии, в звании офицера. После окончания войны еще в течение 10 лет служил в армии. В 1955 г. демобилизовался и стал заниматься только литературой. Автор повестей: «Журавлиный крик» (1961), «Третья ракета» (1962), «Альпийская баллада» (1964), «Мертвым не больно» (1966), «Атака с ходу» (1968), «Круглянский мост» (1969), «Сотников» (1972), «Волчья стая» (1975), «Пойти и не вернуться» (1978), «Знак беды» (1983) и др. Народный писатель Белоруссии. Умер 22 июня 2003 г.

«ОБЕЛИСК»

(отрывок)

Война перевернула весь жизненный уклад. Из Гродно пришёл приказ: организовать истребительный отряд, чтобы вылавливать немецких диверсантов и парашютистов. Ткачук бросился собирать учителей, объездил шесть школ, и к обеду был уже в райкоме. Но руководство укатило со всеми своими пожитками в Минск. Немцы наступали, а отступающих советских войск нигде не было видно.

На третий день войны, в среду, немцы уже были в Сельце. Ткачук да ещё двое учителей еле успели спрятаться в лесу. Ждали, что наши недели через две

прогонят немцев. Если бы кто сказал, что война на четыре года затянется, его провокатором посчитали бы. И тут оказалось, что многие люди не только не настроены оказывать оккупантам сопротивление, но и охотно идут служить к немцам.

Учителя встретили группу окруженцев, руководимую кубанским казаком Селезнёвым, кавалерийским майором. Окопались в урочище Волчьи ямы и стали к зиме готовиться. Оружия почти не было. Пристал к отряду и прокурор Сивак. Здесь он уже был рядовым. На совете решили, что надо наладить связи с сёлами, с надёжными людьми, «пощупать на хуторах окруженцев, которые из частей разбежались да к молодежи пристроились». Майор разослал всех местных, кого куда.

Ткачук и Сивак решили зайти в Сельцо, где у прокурора был знакомый активист. Но узнали, что активист Лавченя ходит с белой повязкой на рукаве — стал полицаем. А учитель Мороз продолжает работать в школе — немцы дали разрешение. Правда, уже не в Габрусевой усадьбе — там теперь полицейский участок, — а в одной из хат. Ткачук был поражён. От Алеся он такого не ждал. А тут прокурор зудит, что в своё время, мол, надо было этого Мороза репрессировать — не наш человек.

Стемнело. Договорились, что Ткачук зайдёт один, а прокурор подождёт в загуменье, за кустами. Встретились с Морозом молча. Алесь кисло усмехнулся и стал говорить, что не будем учить мы — будут оболванивать немцы. А он не для того два года очеловечивал этих

ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Позвали прокурора. Поговорили откровенно обо всем. Стало понятно, что Мороз умнее других. Он своим умом брал шире. Даже прокурор это понял. Решили, что Мороз останется в селе, и будет извещать партизан о намерениях фашистов.

Учитель оказался незаменимым помощником. К тому же его уважали и сельчане. Мороз потихоньку слушал радиоприёмник. Запишет сводки Совинформбюро, на которые самый большой спрос был, распространит среди населения и в отряд передаст. Два раза в неделю пацаны клали записки в дуплянку, висевшую у лесной сторожки на сосне, а ночью их забирали партизаны. Сидели в декабре по своим ямам — все замело снегом, холод, с едой туго, и только радости, что эта Морозова почта. Особенно когда немцев разбили под Москвой.

Первое время у Мороза все шло хорошо. Немцы и полицаи не приставали, следили издали. Единственное, что камнем висело на его совести — судьба тех двух близняшек. В начале июня сорок первого Мороз уговорил их мамашу, опасливую деревенскую бабу, отправить дочерей в пионерский лагерь. Только они уехали, а тут война. Так и пропали девочки.

Один из двоих местных полицаев, бывший знакомый прокурора Лавченя, иногда помогал сельчанам и партизанам, предупреждая об облавах. Зимой сорок третьего немцы расстреляли его. А вот второй оказался последним гадом. По сёлам его звали Каин. Много бед он принёс людям. До войны жил с отцом на хуторе, был

молодой, неженатый — парень как парень. Но пришли немцы — и переродился человек. Наверное, в одних условиях раскрывается одна часть характера, а в других — другая. Сидело в этом Каине до войны что-то подлое, и может, не вылезло бы наружу. А тут вот попёрло. С усердием служил немцам. Расстреливал, насиловал, грабил. Над евреями издевался. И заподозрил Каин что-то в отношении Мороза. Однажды нагрянула полиция в школу. Там как раз шли занятия — человек двадцать детворы в одной комнатке за двумя длинными столами. Врывается Каин, с ним ещё двое и немец — офицер из комендатуры. Перетрясли ученические сумки, проверили книжки. Ничего не нашли. Только учителю допрос устроили. Тогда ребята, во главе с Бородичом что-то задумали. Затаились даже от Мороза. Однажды, правда, Бородич, будто между прочим, намекнул, что неплохо бы пристукнуть Каина. Есть такая возможность. Мороз запретил, но Бородич не думал расставаться с этими мыслями.

Павлу Миклашевичу шёл тогда пятнадцатый год. Коля Бородич был самым старшим, ему было восемнадцать. Ещё братья Кожаны — Тимка и Остап, однофамильцы Смурный Николай и Смурный Андрей, всего шестеро. Самому младшему — Смурному Николаю, было лет тринадцать. Эта компания всегда держалась вместе. Дурости и смелости у них было хоть отбавляй, а вот сноровки и ума — в обрез. Долго прикидывали, и, наконец, разработали план.

Каин часто приезжал к отцу на хутор, через поле от Сельца. Там он пьянствовал да забавлялся с девками.

Один приезжал редко, больше с другими полицаями, а то и с немецким начальством. В первую зиму они держали себя нахально, ничего не боялись. Все случилось неожиданно-негаданно. Уже наступила весна, и с полей сошёл снег. К тому времени Ткачук стал комиссаром отряда. Рано утром его разбудил часовой. Сказал, что задержали какого-то хромого. В землянку ввели Мороза. Он присел на нары и говорит таким голосом, словно похоронил родную мать: «Хлопцев забрали».

Оказалось, что Бородич все-таки добился своего: ребята подстерегли Каина. Несколько дней назад тот на немецкой машине с фельдфебелем, солдатом и двумя полицаями прикатил к отцу. Там и заночевали. Перед этим заехали в Сельцо, забрали свиней, похватали по хатам с десятков кур. На дороге, недалеко от пересечения с шоссе, через овражек был перекинут небольшой мосток. До воды метра два, хоть и воды той по колено. К мостку вёл крутоватый спуск, а потом подъем, поэтому машина или подвода вынуждена брать разгон, иначе на подъем не выберешься. Пацаны это и учли. Как стемнело, все шестеро с топорами и пилами — к этому мостику. Подпилили столбы наполовину, чтоб человек или конь могли перейти, а машина нет. Двое — Бородич и Смурый Николай остались наблюдать, а остальных отправили по домам.

Но в тот день Каин припозднился, и машина показалась на дороге, когда уже полностью рассвело. Машина медленно ползла по плохой дороге и не смогла взять необходимый разгон. На мосту шофёр стал переключать скорость, и тогда одна поперечина

подломилась. Машина накренилась и боком полетела под мост. Как потом выяснилось, седоки и свиньи с курами просто съехали в воду и тут же благополучно повыскакивали. Не повезло немцу, угодившему под борт. Его придавило насмерть.

Хлопцы рванули в деревню, но кто-то из полицаев заметил, как в кустах мелькнула фигура ребёнка. Через какой-то час все в селе уже знали, что случилось у оврага. Мороз сразу бросился в школу, послал за Бородичем, но того не оказалось дома. Миклашевич не выдержал и рассказал учителю обо всем. Мороз не знал, что придумать. И вот в полночь слышит стук в дверь. На пороге стоял полицаи, тот самый Лавченя. Он сообщил, что мальчишек схватили и уже идут за Морозом.

ВАСИЛЬЕВ Б.Л.

Писатель-фронтовик Борис Львович Васильев (родился в 1924 г.), лауреат Государственной премии СССР, премии Президента России, Независимой премии имени «Апрель». Он автор любимых всеми книг «А зори здесь тихие», «Завтра была война», «В списках не значился», «Аты-баты шли солдаты», которые были экранизированы в советское время.

На военных повестях Бориса Васильева воспиталось целое поколение молодежи.

«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»

1 глава

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах осталось еще достаточно молодых и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда хмурый старшина Васков писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладилась переписывать прежние рапорта, меняя в них лишь числа да фамилии.

– Чепушиной занимаетесь! – гремел прибывший по последним рапортам майор. – Писанину развели. Не комендант, а писатель какой-то!

– Шлите непьющих, – упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь. – Непьющих и, это... Чтоб, значит, насчет женского пола.

– Евнухов, что ли?

– Начальству виднее, – осторожно говорил старшина.

– Ладно, Васков, – распаляясь от собственной строгости, сказал майор. – Будут тебе непьющие. И насчет женщин будет как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

– Так точно, – деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощание еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за две недели не прибыло ни одного человека.

– Вопрос сложный, – пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. – Два отделения – это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь...

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

– С командиром прибыли?

– Не похоже, Федот Евграфыч.

– Слава богу! – Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. – Власть делить – это хуже нету.

– Погодите радоваться, – загадочно улыбнулась хозяйка.

– Радоваться после войны будем, – резонно сказал Федот Евграфович, надел фуражку и вышел на улицу.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

– Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта, – тусклым голосом отрапортовала старшая. – Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

– Та-ак, – совсем не по-уставному протянул старшина.
– Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

– Из расположения без моего слова ни ногой, – объявил он, когда все было готово.

– Даже за ягодами? – робко спросила плотненькая: Васков давно уже приметил ее, как самую толковую помощницу.

– Ягод еще нет, – сказал он. – Клюква разве что.

– А щавель можно собирать? – поинтересовалась Кирьянова. – Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отощам.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

– Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, будто попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы

войти куда без стука, теперь не могло быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Но пуще всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

– Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч, – сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными. – Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите на них соответственно.

Федоту Евграфовичу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все эти слова есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то тряпочки. Подобные украшения старшина счел неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

– Демаскирует.

– А есть приказ, – не задумываясь, сказала она.

– Какой приказ?

– Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись – хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комарья народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка – это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть и кхекать, словно и вправду был стариком, – вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще и восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поучение это совсем не для радости.

– Вдовая она, – поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. – Так что полностью в женском звании состоит: можете игры заигрывать.

Промолчал старшина: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, – дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают – это все так. А внутри – беспорядок: «Люда, Вера, Катенька – в караул! Катя – разводящая».

Разве ж это команда? Развод караулов положено по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это порушить надо, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у той один ответ:

– А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

– Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полина Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

– Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.

– Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю – в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

– Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди себя соответственно.

– Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо.

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали. Это ж надо: не от газов в мировую, не от клинка в Гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже – медведь заломал. Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они – не гляди, что рядовые, – наука. «Упреждение, квадрант, угол сноса...» Классов семь, а то и все девять: по разговору видно. От девяти четыре отнять – пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет... Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого...

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну не то чтоб совсем уж двадцать одно выпадало, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими

неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь да плясать да винцо попить. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытацившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне – за догадливость.

Вот за этот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему тот пакгауз блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал, печати и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно. Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...

Вздохнул старшина.

2 глава

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер: встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила его так, словно вечер тот только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким героем не был, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвовала ни в приветствиях, ни в самодеятельности и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до

лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе беспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита несколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать брак, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него – к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять из всех видов оружия, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом, Аликом), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойной и рассудительной, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до подхода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар, – на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто

не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш, советский, огород...» Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу – направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «А»...

Теперь Рита могла считать себя довольной: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый дальний уголок памяти: у Риты была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился:

корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

– Стреляй, Рита! Стреляй! – кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестья с падающей точки. Но когда немец перед самой землей рванул кольцо, выбросив парашют, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрезала черную фигурку, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

– Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее оказались сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто – зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости; болтали взахлеб о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

– Спать! – коротко бросала она, выслушав очередное признание. – Еще услышу о глупостях – настоишься на часах вдоволь.

– Зря, Ритуха, – лениво пеняла Кирьянова. – Пусть себе болтают: занятно.

– Пусть влюбляются – слова не скажу. А так, по углам лизаться, – этого я не понимаю.

– Пример покажи, – усмехалась Кирьянова.

И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое когда-нибудь может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина – тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили поднощицу – курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:

– Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

– У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, – объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

– Один из штабных командиров – семейный, между прочим, – завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив. – Давайте, – сказала Рита

На утро увидела и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские: зеленые, круглые, как блюдца.

– Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день баннным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую как на чудо глядели:

– Женька, ты русалка!

– Женька, у тебя кожа прозрачная!

– Женька, с тебя только скульптуру лепить!

– Женька, ты же без лифчика ходить можешь!

– Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате...

– Несчастливая баба, – вздохнула Кирьянова. – Такую фигуру в обмундирование паковать – это ж сдохнуть легче.

– Красивая, – осторожно поправила Рита. – Красивые редко счастливыми бывают.

– На себя намекаешь? – улыбнулась Кирьянова.

И Рита замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти – пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

– Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита – хоть и знала про полковника досконально – спросила:

– И у тебя тоже?

– А я одна теперь. Маму, сестру, братишку – всех из пулемета уложили.

– Обстрел был?

– Расстрел. Семьи комсостава захватили и – под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все.

Все! Сестренка последней упала: специально добивали...

– Послушай, Женя, а как же полковник? – шепотом спросила Рита. – Как же ты могла, Женя?

– А вот могла! – Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. – Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и – странное дело! – Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчала. Даже смеялась иногда, даже песни пела с девчонками, но сама собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то в перерыве под девичьи «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет – заслушаешься.

– На сцену бы тебе, Женька! – вздыхала Кирьянова. – Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галя Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала – расцвела Галка Четвертак. И глазки вдруг засверкали, и улыбка

появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем: Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штывки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, расспросила и сказала:

– Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась: стала за отъезд агитировать. Почему, отчего – никто не понимал, но примолкли: значит, так надо – Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на 171-й разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара. Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе, остановила первый же грузовик.

– Далеко собралась, красавица? – спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

– До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

– Подремли, деваха, часок.

А утром была на месте.

– Лида, Рая, – в наряд!

Никто не видел, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась только:

– Завела кого-то, горячка. Пусть ее, может, отгад.

И Васкову – ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита – меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшеничный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

– Зарвалась ты, мать! Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется – и сгоришь.

– Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

– Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествиях Кириянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела ответить, одернуть – Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону.

– Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит – света неувидишь.

Пример был: двух подружек из второго отделения старшина за рекой поймал.

Четыре часа – с обеда до ужина – мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез: не то, что за реку – со двора выходить зареклись.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные – от зари до зари – сумерки дышали густым настоем наливающихся трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина и возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И оттого, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива имперской службы СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята к исполнению.

ГРАНИН Д.А.

Даниил Александрович Гранин – выдающийся русский писатель, наш современник, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии «Большая книга» 2012 года за новый роман «Мой лейтенант». Автор знаменитых романов «Иду на грозу», «Зубр», «Картина», экранизированного исторического романа «Вечера с Петром Великим», «Блокадной книги» в соавторстве с А.М. Адамовичем.

В новом романе Даниила Гранина «Мой лейтенант» запечатлена память самих участников трагических событий обороны Ленинграда, восстанавливающая многие неожиданные факты военных действий, увиденных глазами простого лейтенанта, бытовые детали фронтовой жизни; это взгляд на Великую Отечественную из траншеи и окопов, это новое видение событий, неоднократно описанных историками.

«МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первая бомбежка

Настоящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на войне. То была первая бомбежка. Наш эшелон народного ополчения отправился в начале июля 1941 года на фронт. Немецкие войска быстро продвигались к Ленинграду. Через два дня эшелон прибыл на станцию Батецкая, это километров полтора от Ленинграда. Ополченцы стали выгружаться, и тут на нас налетела немецкая авиация. Сколько было этих штурмовиков, не знаю. Для меня небо потемнело от самолетов. Чистое, летнее, теплое, оно загудело, задрожало, звук нарастал. Черные летящие тени покрыли нас. Я скатился с насыпи, бросился под ближний куст,

лег ничком, голову сунул в заросли. Упала первая бомба, вздрогнула земля, потом бомбы посыпались кучно, взрывы сливались в грохот, все тряслось. Самолеты пикировали, один за другим заходили на цель. А целью был я. Они все старались попасть в меня, они неслись к земле на меня, так что горячий воздух пропеллеров шевелил мои волосы.

Самолеты выли, бомбы, падая, завывали еще истошнее. Их вопль ввинчивался в мозг, проникал в грудь, в живот, разворачивал внутренности. Злобный крик летящих бомб заполнял все пространства, не оставляя места воплю. Вой не прерывался, он вытягивал из меня все чувства, и ни о чем нельзя было думать. Ужас поглотил меня целиком. Гром разрыва звучал облегчающе. Я вжимался в землю, чтобы осколки просвистели выше. Усвоил это страхом. Когда просвистит – есть секундная передышка. Чтобы оттереть липкий пот, особый, мерзкий, вонючий пот страха, чтобы голову приподнять к небу. Но оттуда, из солнечной безмятежной голубизны, нарождался новый, еще низкий вибрирующий вой. На этот раз черный крест самолета падал точно на мой куст. Я пытался сжаться, хоть как-то сократить огромность своего тела. Я чувствовал, как заметна моя фигура на траве, как торчат мои ноги в обмотках, бугор шинельной скатки на спине. Комья земли сыпались на голову. Новый заход. Звук пикирующего самолета расплющивал меня. Последний миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной молитвы. Я никогда не верил в Бога, знал всем своим новеньким высшим образованием, всей

астрономией, дивными законами физики, что Бога нет, и тем не менее, я молился.

Небо предало меня, никакие дипломы и знания не могли помочь мне. Я остался один на один с этой летящей ко мне со всех сторон смертью. Запекшиеся губы мои шептали: Господи, помилуй! Спаси меня, не дай погибнуть, прошу тебя, чтобы мимо, чтобы не попала, Господи, помилуй! Мне вдруг открылся смысл этих двух слов, издавна известных – Господи... помилуй!.. В неведомой мне глубине что-то приоткрылось, и оттуда горячо хлынули слова, которых я никогда не знал, не произносил – Господи, защити меня, молю тебя, ради всего святого... От взрыва неподалеку кроваво взметнулось чье-то тело, кусок сочно шмякнулся рядом. Высокая, закопченного кирпича водокачка медленно, бесшумно, как во сне, накренилась, стала падать на железнодорожный состав. Взметнулся взрыв перед паровозом, и паровоз ответно окутался белым паром. Взрывы корежили пути, взлетали шпалы, опрокидывались вагоны, окна станции ало осветились изнутри, но все это происходило где-то далеко, я старался не видеть, не смотреть туда, я смотрел на зеленые стебли, где между травинками полз рыжий муравей, толстая бледная гусеница свешивалась с ветки. В траве шла обыкновенная летняя жизнь, медленная, прекрасная, разумная. Бог не мог находиться в небе, заполненном ненавистью и смертью. Бог был здесь, среди цветов, личинок, букашек...

Самолеты заходили вновь и вновь, не было конца этой адской карусели. Она хотела уничтожить весь мир.

Неужели я должен был погибнуть не в бою, а вот так, ничтожно, ничего не сделав, ни разу не выстрелив? У меня была граната, но не бросишь же ее в пикирующий на меня самолет. Я был раздавлен страхом. Сколько во мне было этого страха! Бомбежка извлекала все новые и новые волны страха, подлого, постыдного, всесильного, я не мог унять его. Проходили минуты, меня не убивали, меня превращали в дрожащую слизь, я был уже не человек, я стал ничтожной, наполненной ужасом тварью.

...Тишина возвращалась медленно. Трещало, шипело пламя пожара. Стонали раненые. Обрушилась водокачка. Пахло паленым, дымы и пыль оседали в безветренном воздухе. Неповрежденное небо сияло той же безучастной красотой. Зашебетали птицы. Природа возвращалась к своим делам. Ей неведом был страх. Я же долго не мог прийти в себя. Я был опустошен, противен себе, никогда не подозревал, что я такой трус. Бомбежка эта сделала свое дело, разом превратив меня в солдата. Да и всех остальных. Пережитый ужас что-то перестроил в организме. Следующие бомбежки воспринимались иначе. Я вдруг обнаружил, что они малоэффективны. Действовали они прежде всего на психику, на самом-то деле попасть в солдата не так-то просто. Я поверил в свою неуязвимость. То есть в то, что я могу быть неуязвим. Это особое солдатское чувство, которое позволяет спокойно выискивать укрытие, определять по звуку летящей мины или снаряда место разрыва, это не обреченное ожидание гибели, а сражение.

Мы преодолевали страх тем, что сопротивлялись, стреляли, становились опасными для противника.

В первые месяцы войны немецкие солдаты в своих касках, зеленых шинелях, со своими автоматами, танками, господством в небе внушали страх. Они казались неодолимыми. Отступление во многом объяснялось этим чувством. У них было превосходство оружия, но еще и ореол воина-профессионала. Мы же, ополченцы, выглядели жалко: синие кавалерийские галифе, вместо сапог – ботинки и обмотки. Шинель не по росту, на голове пилотка...

Прошло три недели, месяц, и все стало меняться. Мы увидели, что наши снаряды и пули тоже разят противника и что немцы раненые так же кричат, умирают. Наконец мы увидели, как немцы отступают. Были такие первые частные, небольшие бои, когда они бежали. Это было открытие. От пленных мы узнали, что, оказывается, мы – ополченцы, в своих нелепых галифе, тоже внушали страх. Стойкость ополченцев, их ярость остановила стремительное наступление на Лужском рубеже. Немецкие части тут застряли. Подавленность от первых ошеломляющих ударов прошла. Мы перестали бояться.

Во время блокады военное мастерство сравнялось. Наши солдаты, голодные, плохо обеспеченные снарядами, удерживали позиции в течение всех 900 дней против сытого, хорошо вооруженного врага уже в силу превосходства духа.

Я пользуюсь своим личным опытом, думается, что примерно тот же процесс изживания страха происходил повсеместно на других наших фронтах. Страх на войне присутствует всегда. Он сопровождает и бывалых солдат,

они знают, чего следует опасаться, как вести себя, знают, что страх отнимает силы.

Надо различать страх личный и страх коллективный. Последний приводил к панике. Таков был, например, страх окружения. Он возникал спонтанно. Треск немецких автоматов в тылу, крик «Окружили!» – и могло начаться бегство. Бежали в тыл, мчались, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из окружения. Невозможно было удержаться и невозможно было удержать бегущих. Массовый страх парализует мысль. Во время боя, когда нервы так напряжены, одного крика, одного труса хватало, чтобы вызывать всеобщую панику. Страх окружения появился в первые месяцы войны. Впоследствии мы научились выходить из окружения, пробиваться, окружение переставало устрашать.

Страху противопоказан, как ни странно, смех. В страхе не смеются. А если смеются, то страх проходит, он не выносит смеха, смех убивает его, отвергает, сводит на нет, во всяком случае изгоняет хоть на какое-то время. По этому поводу хочется привести одну историю, которую я слышал от замечательного писателя Михаила Зощенко.

Незадолго до его смерти в Доме писателя устроили его вечер. Зощенко был в опале, его не издавали, выступления его были запрещены. Вечер его устраивали тайком. Под видом его творческого отчета. Приглашали по ограниченному списку. Зощенко радовался, последнее время он находился в изоляции, нигде не бывал, никуда его не приглашали – боялись.

Вечер получился трогательно праздничным. Зощенко рассказывал, над чем он работает. Он задумал цикл рассказов «Сто самых удивительных историй моей жизни», некоторые из них он нам пересказал. Он не читал. Рукописи у него не было. Видимо, он их еще не записал. Одна из этих историй имеет непосредственное отношение к нашей теме. Попробую ее передать по памяти, к сожалению, своими словами, а не тем чудесным языком, каким владел только Михаил Зощенко.

Случилось это на войне, на Ленинградском фронте. Группа наших разведчиков передвигалась по лесной дороге. Была глубокая осень. Листья шуршали под ногами, и звук этот мешал прислушиваться. Они шли, держа на изготовку автоматы, шли уже долго и, возможно, расслабились. Дорога резко сворачивала, и на этом повороте они лицом к лицу столкнулись с немцами. Такой же небольшой разведгруппой. Растерялись и те и другие. Без команды немцы скакнули в кювет по одну сторону дороги, наши – тоже в кювет, по другую сторону. А один немецкий солдатик запутался и скатился в кювет вместе с советскими солдатами. Он не сразу понял ошибку. Но когда увидел рядом с собой солдат в пилотках со звездочками, заметался, закричал от ужаса, выпрыгнул из кювета и одним гигантским прыжком, взметая палые листья, перемахнул через всю дорогу к своим. Ужас придал ему силы, вполне возможно, он совершил рекордный прыжок. При виде этого наши солдаты засмеялись и немецкие тоже. Они сидели друг

против друга в кюветах, выставив автоматы, и от души хохотали над этим бедным молоденьким солдатом.

После этого стрелять стало невозможно. Смех соединил всех общечеловеческим чувством. Немцы смущенно поползли по кювету в одну сторону, наши – в другую. Разошлись, не обменявшись ни одним выстрелом.

Летний сад

Перед разлукой мы все трое встретились позади Петровского дворца, за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на стриженной траве Летнего сада.

Бен попал в зенитную часть, Вадим – в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастеров. Офицерская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим: лихо сдвинутая фуражка, фуранька, как называл он, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой. Весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым, штатское еще не сошло с него, штатской была его печаль, никак он не мог одолеть печаль от предстоящей нашей разлуки.

Я не шел ни в какое сравнение с ними: гимнастерка – б/у, х/б (бывшая в употреблении, хлопчатобумажная), на ногах – стоптанные кем-то ботинки, обмотки и в завершение – синие диагоналевые галифе

кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Спустя много лет я нашел старинную, потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел компьютером и заклинаниями вытащить нас троих из тьмы последнего нашего свидания на свет Божий, и я увидел себя в том облачении. Ну и вид, и в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее они возмущались: неужели меня, как звал Вадим, вольноопределяющегося, не могли обмундировать как следует!

Они сердито цитировали призыв, тогда он звучал на всех митингах: «Грудью встать на защиту Ленинграда!» Грудью, выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, танки? Идиотское выражение, но, судя по обмоткам, прежде всего – грудью! Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли бронь и зачислили в ополчение. То есть рядовым в пехоту? – спросили они, на кой мне ополчение, это же необученная толпа, пушечное мясо. Война – профессиональное дело, доказывал Бен.

Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками Фортуны. В Университете на Вадима возлагали большие надежды. Сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики, возлагал. Считалось, что Вадим Пушкарев предназначен для великих открытий. А Бен отличался как математик, его опекал Лурье, тоже знаменитость. Доктор наук, а может, и членкор.

Я гордился их дружбой, тем, что допущен, на меня, рядового инженера, никто не возлагал... В их компании я всегда выглядел чушкой, они, по сравнению со мной, – аристократы. Во мне плебейство неистребимо. Но они меня тоже за что-то любили.

Вадим достал из кармана фляжку с водкой, отцовскую, пояснил он, времен Первой империалистической, мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая «лейка». Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел, а Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет «фактор внезапности», мы их сокрушим могучим ударом, поскольку —

...от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!

Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе мы их раздолбаем.

Очень скоро нас постигло разочарование, оно перешло в отчаяние, отчаяние – в злобу и на немцев, и на своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, угрюмая, исступленная.

Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас, для них все это уже когда-то было – война, падение империи, чума, разруха.

В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта, он командовал зенитной батареей, только в

самых последних строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», – закончил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту и я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю. В то воскресенье

Странно и то, что я никогда не задумывался над этой странностью, считал ее забавным совпадением, не более. Любовь моя разгорелась в июне 1941 года, разразилась неким решением к 22 июня, в тот воскресный день, когда мы утречком поехали в Дудергоф, ушли в рощу погулять, выбрать себе укромное местечко. Намерения у меня были, как позже признавался, самые гнусные. В те яростные молодые годы я не пренебрегал никакими возможностями получить от женщины то, что она должна дать. Они сами употребляют эти словечки – «хочу», «дам», «не дам», «кому хочу – тому дам». До сих пор я имел дело с женщинами. Кто, когда лишал их девственности, я не знал, они мне доставались «распечатанными», более или менее опытными.

Здесь же было другое. Совсем другое. Я чувствовал, что она девушка. На самом деле меня это больше пугало, чем радовало. В те времена нравственные правила еще не считали предрассудками. Как потом выяснилось, страхи одолевали меня сильнее, чем ее.

День был синий-пресиний, полный цветущей сирени, наступающей жары, пахучий день равноденствия, разгар белых ночей, кипящей крови.

Отношения наши зашли далеко и приблизились к решающей черте. Переступить или отказаться? Чего я не собирался, да и она тоже. Она догадывалась о намерениях, я знал, что она догадывается, от этого мы много смеялись над собой. Смеясь, она закидывала голову, взмахивая челочкой темных волос, вскрикивала: «Ой, воды!». Ровные белые зубы ее призывно вспыхивали. Наслаждение смехом заставляло меня изощряться в остроумии. Мне хотелось завоевывать ее еще и еще. Наш роман длился уже месяца три, мне было этого мало. Среди ее кавалеров были солидные дяди. Был какой-то шишка, водил ее в ресторан, кормил паюсной икрой, чем она хвасталась, поддразнивая меня. Был один старший сотрудник центральной лаборатории, разумеется, талантливый, красавец. Найдя предлог, я заглянул в лабораторию посмотреть на соперника. Действительно, оказалось – славный мужик, выше меня, кудрявый, с доброй улыбкой. Римма не преувеличивала, врать она не умела начисто, она прямо-таки угнетала своей честностью.

В заводской библиотеке я взял американский журнал по электротехнике, сунул в карман куртки так, чтобы красочная обложка и заголовок торчали. Пусть видит, что я тоже не фуфры-мухры. И в Дудергофе я куражился – перепрыгнул через широкую канаву, поставив рекорд. Откуда-то появляются ловкость и сила, срабатывает древний инстинкт, к человеку возвращается прекрасное природное естество, поют без усталости свои серенады, дятлы отщелкивают-барабанят свои любовные призывы, не щадя головы, не только ради самок, это

весна переполняет жизненными силами, самец себя показывает, себя утверждает, возвеличивает.

Счастливое единство с природой. Мы одной крови, мы тоже готовы петь, кататься по траве, драться.

Глухое зеленое местечко открылось перед нами, специально выстроенное лесным архитектором. Мы легли, и началась игра касания, поцелуи, вновь касания. Ее белые ровные зубы, чистое дыхание казались мне частью налитой соками природы, как будто я целовал этот день, эту молодую прозрачную листву.

Потом я часто спрашивал себя: почему другие губы, другие тела, тоже красивые, молодые, не доставляли такого физического наслаждения?

Липа над нами ловила солнце в свою зеленую сеть, день обещал жару, счастье. Неожиданно раздались голоса, резкие, грубые, им откликнулись другие, слева, справа, быстро приближаясь. Я встал, увидел головы солдат в пилотках. Они надвигались цепью, останавливались, вкапывали какие-то знаки. К нам подошел младший лейтенант, один кубик в петлицах, сказал:

– Уходите, здесь сейчас нельзя.

– Что такое? – спросил я.

– Война, – коротко бросил он и куда-то побежал.

Более дурацкой причины, чтобы нас выставить, никто бы не придумал. Да и день не верил этому, он продолжался, распевая птичьим гомоном. Мы шли, бежали, хохоча, держась за руки, и Римма была еще соблазнительней. Возвращались под вечер. Поезд был переполнен. Мы стояли в тамбуре, прижатые друг к

другу, радуясь этому. Кругом говорили про войну, бомбардировки. Война с кем – с немцами? Я удивлялся, не верил, но уже понимал, что это правда. Что означает эта правда, я не представлял, но порывы общей тревоги наконец настигли нас.

Неизвестно, как бы развивался наш роман, возможно, он быстро истощился бы, как бывало у меня, молодость жаждала новых и новых влюбленностей.

С вокзала я поехал на завод. Надо было убедиться, осознать невероятность того, о чем говорили. На заводе уже записывались в ополчение. К дверям парткома и комитета комсомола стояли очереди. Я тоже решил записаться: как же, война – и без меня.

Трудно понять, чего тут было больше – тщеславия, патриотизма, авантюренности. Войну-то я воспринимал не всерьез. Представился счастливый случай прогуляться по Германии, проучить фашистов. Авантюренность моя проявлялась неожиданно, в причудливых формах. Как-то раз, узнав о приезде в Ленинград Юрия Олеши, я отправился к нему в гостиницу «Европейская». Зачем, для чего – я только что прочел его роман «Зависть», восхитился и решил высказать ему свое мнение. Уговорил своего приятеля Костю, и вот два студентика стучатся в номер Юрия Карловича. Ни цветов, ни торта в подарок, даже о предлоге приличном не позаботились. Олеша сидел с женой, пили чай. А может быть – вино, я не разобрался. С порога объявил об нашем читательском восторге. Небольшую речь я сочинил на лестнице. Юрий Олеша молча выслушал, ждал, что будет дальше, наверное, ему было интересно, как мы выпутаемся из

паузы. Сделала это жена его, которая крикнула, чтобы он пригласил «мальчиков».

Дальнейшее не запомнилось: хозяин что-то рассказывал про фильм, который должен сниматься по его сценарию, без интереса спросил, где мы учимся. Ничего не произнес, что бы потом я мог цитировать. Можно считать это посещение бездарным. Но нет, все же Юрий Олеша стал живым человеком, и я перечитывал его книги с нежностью – этот малорослый неловкий человек, а какая ловкость в обращении с фразой, и как он умел читать чужие книги.

В ополчение меня не брали, я числился инженером в СКБ у Ж. Я. Котина, главного конструктора танков. Пожаловался в партком, в дирекцию, в комитет комсомола. Существовало много инстанций для жалоб. Через неделю мне удалось снять «броню». Меня зачислили в Первую дивизию народного ополчения, «1 ДНО». Я был счастлив. Чем?.. Любовь должна была бы удерживать меня, роман только разгорался, работа над новым танком могла удовлетворить любой патриотический пыл. На третий месяц войны я перестал понимать свое решение, свою настойчивость, хлопоты. Правда, если присмотреться повнимательней, то можно увидеть, что в армию ушли почти все мои ребята – Вадим, Бен, Илья, Леня. Ушли, впрочем, по мобилизации. Костя, как и я, имел броню в своем радиоинституте и держался за нее обеими руками. – Защищать грудью страну я не собираюсь», – говорил он.

– Это же образное выражение, нельзя понимать буквально.

– Винтовку тебе дали? Нет? То-то. Чем же ты будешь воевать?

Ничто не могло остановить меня, я предстал перед Риммой в гимнастерке б/у, синих диагональных галифе, тяжелых ботинках с обмотками, выглядел нелепо, а чувствовал себя гусаром, кавалергардом. Если бы пистолет на пояс, но дали только противогаз и перед отправкой – бутылку с зажигательной смесью.

Главная тайна для меня состояла в том, почему она предпочла меня. Начинающий инженер, из семьи бедной, отец в Сибири, внешность – так себе, не поет, ни на чем не играет, не спортсмен, спрашивается – в чем секрет? Извечное стремление объяснить загадку любви.

То, что она девушка, было доказательством ее любви, во всяком случае, много значило. Девственность и у мужчин вызывает ни с чем не сравнимое чувство чистоты, во всяком случае, запомнилась та ночь. Мы перешли со скрипучей кровати на пол, в соседней комнате спали моя мать, сестра; проклятая слышимость мешала ликовать, вопить, рычать, не сдерживать себя, предаваться любви, как предаются животные. Но все равно, и сдерживание было приятно, и ночное небо с тревожным рыском прожекторов, и ветер из открытого окна. Начало любви, восходящая ветвь круто поднималась к звездам, в бесконечность, казалось, так будет всегда.

Последние городские недели перед отправкой на фронт, формирование дивизии, тренировки в

Шереметьевском парке, карточки на продукты, бомбежки – все шло по касательной, мимо, не препятствуя, подгоняя наши отношения.

Неопытность была во всем – в войне, в любви, продуктовых карточках. Никто не запасался продуктами, никто не думал про эвакуацию. Все же мы не витали в облаках, мы отправились в загс. Предложил я. Предложил не руку и сердце, а предложил зарегистрироваться. Чисто деловое предложение сделал. Это был сентябрь 1941 года, третий месяц войны, немцы подошли к Пушкину. Я знал, что у этого брака не было будущего, и у меня не было, к тому времени я убедился, что Германию одолеть непросто, и пехотинцу в этой войне уцелеть не светит. В тот первый год солдат проживал на переднем крае в среднем четыре дня. Будет у Риммы хоть память о юной ее первой любви к молодому солдатику, иногда вздохнет, вспомнив, и тому подобная сладостная лирика.

Мне приятно было адресовать ей аттестат, грошовая сумма, но все же. Загс на Чайковского был закрыт, ушли в бомбоубежище. В загс на Владимирском попал снаряд. Направились на площадь Стачек. Мы готовы были ходить из загса в загс, регистрироваться дважды, трижды, ждять на ступеньках... Наконец мы добились своего, она получила штамп в паспорте, в мою солдатскую книжку штампа не полагалось.

Город был без цветов. На Невском в кафе «Норд» за большие деньги нам подали пирожки с повидлом, кофе и по фужеру вина. Официантка, когда узнала, что мы отмечаем свадьбу, принесла нам по эклеру. Прочую

пустоту стола заполнила Римма, ее счастье, ее глаза, смех. Достаточно было смотреть на нее. Для женщины свадебный акт — значит много. Я просто любовался ею, шутил, требовал, чтобы она научилась делать блины и кулебяку.

Никаких планов совместной жизни мы не строили, я возвращался на фронт, она на завод. День был теплый, летнее голубое платьице, глубокий вырез, маленький золотой медальон лежал на загорелой груди. Еще — шелковая темно-синяя косынка или шарфик. Вдруг я сообразил, что она, кроме отца с матерью, единственная, кто сохранит какую-то память обо мне, через нее я на какое-то время останусь в этом мире. Она будет ждать, о ней можно скучать на передовой.

В ополчении мне полагалась инженерная зарплата. Одну половину я выписал аттестатом на родителей, другую — Римме, ей было приятно, что я узаконил ее.

В ту весну у меня еще продолжался роман с красоткой Зоей, мало того что она имела совершенную фигуру — тоненькая талия, крутые выпуклости, так она беззаветно трудилась над чертежами для моего дипломного проекта. Судя по тому, как она ловко, даже привычно организовала наши встречи у подружки, — она была старше меня на год, на два, выглядела же девчужкой. Она с удовольствием приспосабливалась ко мне, ходила со мной на выставки, ездила на Острова, забавляла меня своими рассказами об их конструкторском бюро, рассказчицей была талантливой, с ней было весело, легко, увлекалась она фотографией, без конца снимала меня, себя, нас обоих, это, как она

говорила, заменяет ей дневник. Я удивлялся тому, как с Риммой начисто позабыл о ней. Новость о моей женитьбе дома приняли прохладно. Мать считала, что ее сын заслуживает куда большего. Трудно сказать, что она имела в виду, может, художницу, может, актрису, дочь ученого, генерала. Ни профессия, ни происхождение – отец Риммин – совслужащий, мать – учительница музыки, воронежские провинциалы – это ее не устраивало. И сама Римма – кто она – инженер-плановик из МХ-3. Особенно ее раздражало это «три», третий механический. Внешность самая заурядная, обкрутила, вцепилась: такой парень, конечно, для провинциалки завидная партия...

Двадцать второго июня 1941 года, через несколько часов после начала Великой Отечественной войны, Черчилль выступил по радио и заявил, что Англия будет бороться с гитлеровской Германией до конца. Он не упрекал Советский Союз за союз с Гитлером в ходе Второй мировой войны. Он сказал: «Если мы будем пытаться поссорить прошлое и настоящее, мы проиграем будущее». Точное это изречение определило всю военную политику Англии. Хотя с июня 1941 по осень 1942 года русский фронт, как он выразился, показался ему «обузой, а не подспорьем».

БОНДАРЕВ Ю.В.

Юрий Васильевич Бондарев (1924), бывший офицер-артиллерист, воевавший в 1942—1944 годах под Сталинградом, на Днестре, в Карпатах, автор лучших книг о войне – «Батальоны просят огня» (1957), «Тишина» (1962), «Горячий снег» (1969). Одно из достоверных произведений, написанных Бондаревым о войне – роман «Горячий снег» о Сталинградской битве, о защитниках Сталинграда, для которых он олицетворял защиту Родины. Сталинград как символ солдатского мужества и стойкости проходит по всем произведениям писателя-фронтовика.

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

Глава первая

Кузнецову не спалось. Все сильнее стучало, гремело по крыше вагона, вьюжно ударили нахлесты ветра, все плотнее забивало снегом едва угадываемое оконце над нарами.

Паровоз с диким, раздирающим метель ревом гнал эшелон в ночных полях, в белой, несущейся со всех сторон мути, и в гремучей темноте вагона, сквозь мерзлый визг колес, сквозь тревожные всхлипы, бормотание во сне солдат был слышен этот непрерывно предупреждающий кого-то рев паровоза, и чудилось Кузнецову, что там, впереди, за метелью, уже мутно проступало зарево горящего города.

После стоянки в Саратове всем стало ясно, что дивизию срочно перебрасывают под Сталинград, а не на Западный фронт, как предполагалось вначале; и теперь Кузнецов знал, что ехать оставалось несколько часов. И, натягивая на щеку жесткий, неприятно влажный воротник шинели, он никак не мог согреться, набрать тепло, чтобы уснуть: пронзительно дуло в невидимые щели заметенного оконца, ледяные сквозняки гуляли по нарам.

«Значит, я долго не увижу мать, — съезживаясь от холода, подумал Кузнецов, — нас провезли мимо...».

То, что было прошлой жизнью, — летние месяцы в училище в жарком, пыльном Актюбинске, с раскаленными ветрами из степи, с задыхающимися в закатной тишине криками ишаков на окраинах, такими ежевечерне точными по времени, что командиры взводов на тактических занятиях, изнывая от жажды, не без облегчения сверяли по ним часы, марши в одуряющем зное, пропотевшие и выжженные на солнце добела гимнастерки, скрип песка на зубах; воскресное патрулирование города, в городском саду, где по вечерам мирно играл на танцплощадке военный духовой оркестр; затем выпуск в училище, погрузка по тревоге осенней ночью в вагоны, угрюмый, в диких снегах лес, сугробы, землянки формировочного лагеря под Тамбовом, потом опять по тревоге на морозно розовеющем декабрьском рассвете спешная погрузка в эшелон и, наконец, отъезд — вся эта зыбкая, временная, кем-то управляемая жизнь потускнела сейчас, оставалась далеко позади, в прошлом. И не было надежды увидеть мать, а он совсем недавно

почти не сомневался, что их повезут на запад через Москву.

«Я напишу ей, — с внезапно обострившимся чувством одиночества подумал Кузнецов, — и все объясню. Ведь мы не виделись девять месяцев...».

А весь вагон спал под скрежет, визг, под чугунный гул разбежавшихся колес, стены туго качались, верхние нары мотало бешеной скоростью эшелона, и Кузнецов, вздрагивая, окончательно прозябнув на сквознях возле оконца, отогнул воротник, с завистью посмотрел на спящего рядом командира второго взвода лейтенанта Давлатяна — в темноте нар лица его не было видно.

«Нет, здесь, возле окна, я не усну, замерзну до передовой», — с досадой на себя подумал Кузнецов и задвигался, пошевелился, слыша, как хрустит иней на досках вагона.

Он высвободился из холодной, колючей тесноты своего места, прыгнул с нар, чувствуя, что надо обогреться у печки: спина вконец окоченела.

В железной печке сбоку закрытой двери, мерцающей толстым инеем, давно погас огонь, только неподвижным зрачком краснело поддувало. Но здесь, внизу, казалось, было немного теплее. В вагонном сумраке этот багровый отсвет угля слабо озарял разнообразно торчащие в проходе новые валенки, котелки, вещмешки под головами. Дневальный Чибисов неудобно спал на нижних нарах, прямо на ногах солдат; голова его до верха шапки была упрятана в воротник, руки засунуты в рукава.

— Чибисов! — позвал Кузнецов и открыл дверцу печки, повеявшей изнутри еле уловимым теплом. — Все погасло, Чибисов!

Ответа не было.

— Дневальный, слышите?

Чибисов испуганно вскинулся, заспанный, помятый, шапка-ушанка низко надвинута, стянута тесемками у подбородка. Еще не очнувшись ото сна, он пытался оттолкнуть ушанку со лба, развязать тесемки, непонимающе и робко вскрикивая:

— Что это я? Никак, заснул? Ровно оглушило меня беспамятством. Извиняюсь я, товарищ лейтенант! Ух, до косточек пробрало меня в дремоте-то!..

— Заснули и весь вагон выстудили, — сказал с упреком Кузнецов.

— Да не хотел я, товарищ лейтенант, невзначай, без умыслу, — забормотал Чибисов. — Повалило меня...

Затем, не дожидаясь приказаний Кузнецова, с излишней бодростью засуетился, схватил с пола доску, разломал ее о колено и стал заталкивать обломки в печку. При этом бестолково, будто бока чесались, двигал локтями и плечами, часто нагибаясь, деловито заглядывал в поддувало, где ленивыми отблесками заползал огонь; ожившее, запачканное сажей лицо Чибисова выражало заговорщицкую подобострастность.

— Я теперича, товарищ лейтенант, тепло нагоню! Накалим, ровно в баньке будет. Иззябся я сам за войну-то! Ох как иззябся, каждую косточку ломит — слов нет!..

Кузнецов сел против раскрытой дверцы печки. Ему неприятна была преувеличенно нарочитая суетливость

дневального, этот явный намек на свое прошлое. Чибисов был из его взвода. И то, что он, со своим неумеренным старанием, всегда безотказный, прожил несколько месяцев в немецком плену, а с первого дня появления во взводе постоянно готов был услужить каждому, вызывало к нему настороженную жалость.

Чибисов мягко, по-бабьи опустил на нары, непрспаные глаза его моргали.

— В Сталинград, значит, едем, товарищ лейтенант? По сводкам-то какая мясорубка там! Не боязно вам, товарищ лейтенант? Ничего?

— Приедем — увидим, что за мясорубка, — вяло отозвался Кузнецов, всматриваясь в огонь. — А вы что, боитесь? Почему спросили?

— Да, можно сказать, того страху нету, что раньше-то, — фальшиво весело ответил Чибисов и, вздохнув, положил маленькие руки на колени, заговорил доверительным тоном, как бы желая убедить Кузнецова: — После, как наши из плена-то меня освободили, поверили мне, товарищ лейтенант. А я целных три месяца, ровно щенок в дерьме, у немцев просидел. Поверили... Война вон какая огромная, разный народ воюет. Как же сразу верить-то? — Чибисов склонился осторожно на Кузнецова; тот молчал, делая вид, что занят печкой, обогреваясь ее живым теплом: сосредоточенно сжимал и разжимал пальцы над открытой дверцей. — Знаете, как в плен-то я попал, товарищ лейтенант?.. Не говорил я вам, а сказать хочу. В овраг нас немцы загнали. Под Вязьмой. И когда танки ихние вплотную подошли, окружили, а у нас и снарядов

уж нет, комиссар полка навех своей «эмки» выскочил с пистолетом, кричит: «Лучше смерть, чем в плен к фашистским гадам!» — и выстрелил себе в висок. От головы брызнуло даже. А немцы со всех сторон бегут к нам. Танки их живьем людей душат.

Тут и... полковник и еще кто-то...

— А потом что? — спросил Кузнецов.

— Я в себя выстрелить не мог. Сгрудили нас в кучу, орут «хенде хох». И повели...

— Понятно, — сказал Кузнецов с той серьезной интонацией, которая ясно говорила, что на месте Чибисова он поступил бы совершенно иначе. — Так что, Чибисов, они закричали «хенде хох» — и вы сдали оружие? Оружие-то было у вас?

Чибисов ответил, робко защищаясь натянутой полуулыбкой:

— Молодой вы очень, товарищ лейтенант, детей, семьи у вас нет, можно сказать. Родители небось...

— При чем здесь дети? — проговорил со смущением Кузнецов, заметив на лице Чибисова тихое, виноватое выражение, и прибавил: — Это не имеет никакого значения.

— Как же не имеет, товарищ лейтенант?

— Ну, я, может быть, не так выразился... Конечно, у меня нет детей.

Чибисов был старше его лет на двадцать — «отец», «папаша», самый пожилой во взводе. Он полностью подчинялся Кузнецову по долгу службы, но Кузнецов, теперь поминутно помня о двух лейтенантских кубиках в петлицах, сразу обременивших его после училища новой

ответственностью, все-таки каждый раз чувствовал неуверенность, разговаривая с прожившим жизнь Чибисовым.

— Ты, что ли, не спишь, лейтенант, или померещилось? Печка горит? — раздался сонный голос над головой.

Послышалась возня на верхних нарах, затем грузно, по-медвежьи спрыгнул к печке старший сержант Уханов, командир первого орудия из взвода Кузнецова.

— Замерз, как цуцик! Греетесь, славяне? — спросил, протяжно зевнув, Уханов. — Или сказки рассказываете?

Вздрагивая тяжелыми плечами, откинув полу шинели, он пошел к двери по качающемуся полу. С силой оттолкнул одной рукой загремевшую громоздкую дверь, прислонился к щели, глядя в метель. В вагоне вьюжно завихрился снег, подул холодный воздух, паром понесло по ногам; вместе с грохотом, морозным взвизгиванием колес ворвался дикий, угрожающий рев паровоза.

— Эх, и волчья ночь — ни огня, ни Сталинграда! — подергивая плечами, выговорил Уханов и с треском задвинул обитую по углам железом дверь.

Потом, постукав валенками, громко и удивленно крикнув, подошел к уже накалившейся печке; насмешливые, светлые глаза его были еще налиты дремой, снежинки белели на бровях. Присел рядом с Кузнецовым, потер руки, достал кисет и, вспоминая что-то, засмеялся, сверкнул передним стальным зубом.

— Опять жратва снилась. Не то спал, не то не спал: будто какой-то город пустой, а я один... вошел в какой-то разбомбленный магазин — хлеб, консервы, вино, колбаса на прилавках... Вот, думаю, сейчас рубану! Но замерз, как бродяга под сетью, и проснулся. Обидно... Магазин целый! Представляешь, Чибисов!

Он обратился не к Кузнецову, а к Чибисову, явно намекая, что лейтенант не чета остальным.

— Не спорю я с вашим сном, товарищ старший сержант, — ответил Чибисов и втянул ноздрями теплый воздух, точно шел от печки ароматный запах хлеба, кротко поглядев на ухановский кисет. — А ежели ночью совсем не курить, экономия обратно же. Сокруток десять.

— О-огромный дипломат ты, папаша! — сказал Уханов, сунув кисет ему в руки. — Свертывай хоть толщиной в кулак. На кой дьявол экономить? Смысл? — Он прикурил и, выдохнув дым, поковырял доской в огне. — А уверен я, братцы, на передовой с жратвой будет получше. Да и трофеи пойдут! Где есть фрицы, там трофеи, и тогда уж, Чибисов, не придется всем колхозом подметать допдаек лейтенанта. — Он подул на сигарку, сощурился: — Как, Кузнецов, не тяжелы обязанности отца-командира, а? Солдатам легче — за себя отвечай. Не жалеешь, что слишком много гавриков на твоей шее?

— Не понимаю, Уханов, почему тебе не присвоили звания? — сказал несколько задетый его насмешливым тоном Кузнецов. — Может, объяснишь?

Со старшим сержантом Ухановым он вместе заканчивал военное артиллерийское училище, но в силу непонятных причин Уханова не допустили к экзаменам,

и он прибыл в полк в звании старшего сержанта, зачислен был в первый взвод командиром орудия, что чрезвычайно стесняло Кузнецова.

— Всю жизнь мечтал, — добродушно усмехнулся Уханов. — Не в ту сторону меня понял, лейтенант... Ладно, вздремнуть бы минуток шестьсот. Может, опять магазин приснится? А? Ну, братцы, если что, считайте не вернувшимся из атаки...

Уханов швырнул окурок в печку, потянулся, встав, косолапо пошел к нарам, тяжеловесно вспрыгнул на зашуршавшую солому; расталкивая спящих, приговаривал: «А ну-ка, братцы, освободи жизненное пространство». И скоро затих наверху.

— Вам бы тоже лечь, товарищ лейтенант, — вздохнув, посоветовал Чибисов. — Ночь-то короткая, видать, будет. Не беспокойтесь, за-ради Бога.

Кузнецов с пылающим у печного жара лицом тоже поднялся, выработанным строевым жестом оправил кобуру пистолета, приказывающим тоном сказал Чибисову:

— Исполняли бы лучше обязанности дневального! — Но, сказав это, Кузнецов заметил оробелый, ставший пришибленным взгляд Чибисова, ощутил неоправданность начальственной резкости — к командному тону его шесть месяцев приучали в училище — и неожиданно поправился вполголоса:

— Только чтоб печка, пожалуйста, не погасла. Слышите?

— Ясненько, товарищ лейтенант. Не сумлевайтесь, можно сказать. Спокойного сна...

Кузнецов влез на свои нары, в темноту, несогретую, ледяную, скрипящую, дрожащую от неистового бега поезда, и здесь почувствовал, что опять замерзнет на сквозняке. А с разных концов вагона доносились храп, сопение солдат. Слегка потеснив спящего рядом лейтенанта Давлатяна, сонно всхлипнувшего, по-детски зачмокавшего губами, Кузнецов, дыша в поднятый воротник, прижимаясь щекой к влажному, колкому ворсу, зябко стягиваясь, коснулся коленями крупного, как соль, инея на стене — и от этого стало еще холоднее.

С влажным шорохом под ним скользила слежавшаяся солома. Железисто пахли промерзшие стены, и все несло и несло в лицо тонкой и острой струей холода из забитого метельным снегом сереющего оконца над головой.

А паровоз, настойчивым и грозным ревом раздирая ночь, мчал эшелон без остановок в непроглядных полях — ближе и ближе к фронту.

Глава вторая

Кузнецов проснулся от тишины, от состояния внезапного и непривычного покоя, и в его полусонном сознании мелькнула мысль: «Это выгрузка! Мы стоим! Почему меня не разбудили?..»

Он спрыгнул с нар. Было тихое морозное утро. В широко раскрытую дверь вагона дуло холодом; после успокоившейся к утру метели вокруг неподвижно,

зеркально до самого горизонта выгибались волны нескончаемых сугробов; низкое без лучей солнце грузным малиновым шаром висело над ними, и остро сверкала, искрилась размельченная изморозь в воздухе.

В насквозь выстуженном вагоне никого не было. На нарах — смятая солома, красновато светились карабины в пирамиде, валялись на досках развязанные вещмешки. А возле вагона кто-то пушечно хлопал рукавицами, крепко, свежо в тугой морозной тишине звенел снег под валенками, звучали голоса:

— Где же, братцы славяне, Сталинград?

— Не выгружаемся вроде? Команды никакой не было. Успеем пожрать. Должно, не доехали. Наши уже вон с котелками идут.

И еще кто-то проговорил хрипловато и весело:

— Ох и ясное небо, налетят они!.. В самый раз!

Кузнецов, мгновенно стряхнув остатки сна, подошел к двери и от жгучего сияния пустынных под солнцем снегов зажмурился даже, охваченный режущим морозным воздухом.

Эшелон стоял в степи. Около вагона, на прибитом метелью снегу, группами толпились солдаты; возбужденно толкались плечами, согреваясь, хлопали рукавицами по бокам, то и дело оборачивались — все в одном направлении.

Там, в середине эшелона, в леденцовой розовости утра дымили на платформе кухни, напротив них нежно краснела из сугробов крыша одинокого здания разъезда. К кухням, к домику разъезда бежали солдаты с котелками, и снег вокруг кухонь, вокруг журавля-

колодца по-муравьиному кишел шинелями, ватниками — весь эшелон, казалось, набирал воду, готовился к завтраку.

У вагона шли разговоры:

— Ну и пробирает, кореш, от подметок! Градусов тридцать, наверно? Сейчас бы избенку потеплей да бабенку посмелей, и — «В парке Чаир распускаются розы...».

— Нечаеву все одна ария. Кому что, а ему про баб! Во флоте-то тебя небось шоколадами кормили — вот и кобелировал, палкой не отгонишь!

— Не так грубо, кореш! Что ты можешь в этом понимать! «В парке Чаир наступает весна...» Деревенщина, брат, ты.

— Тьфу, жеребец! Опять то же!

— Давно стоим? — спросил Кузнецов, не обращаясь ни к кому в отдельности, и спрыгнул на заскрипевший снег.

Увидев лейтенанта, солдаты, не переставая толкаться, притопывать валенками, не вытянулись в уставном приветствии («Привыкли, черти!» — подумал Кузнецов), лишь прекратили на минуту разговор; у всех иней колноче серебрился на бровях, на мехе ушанок, на поднятых воротниках шинелей. Наводчик первого орудия сержант Нечаев, высокий, поджарый, из дальневосточных моряков, заметный бархатными родинками, косыми бачками на скулах и темными усиками, сказал:

— Приказано было не будить вас, товарищ лейтенант. Уханов сказал: ночь дежурили. Пока аврала не наблюдается.

— А где Дроздовский? — Кузнецов нахмурился, взглянул на блещущие иглы солнца.

— Туалет, товарищ лейтенант, — подмигнул Нечаев. Метрах в двадцати, за сугробами, Кузнецов увидел командира батареи лейтенанта Дроздовского. Еще в училище он выделялся подчеркнутой, будто врожденной своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица — лучший курсант в дивизионе, любимец командиров-строевиков. Сейчас он, голый по пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат и, наклоняясь, молча и энергично растирался снегом. Легкий пар шел от его гибкого, юношеского торса, от плеч, от чистой, безволосой груди; и в том, как он умывался и растирался пригоршнями снега, было что-то демонстративно упорное.

— Что ж, правильно делает, — сказал серьезно Кузнецов.

Но, зная, что сам не сделает этого, он снял шапку, сунул ее в карман шинели, расстегнул ворот, подхватил пригоршню жесткого, шершавого снега и, до боли надирая кожу, потер щеки и подбородок.

— Какой сюрприз! Вы к нам? — услышал он преувеличенно обрадованный голос Нечаева. — Как мы рады вас видеть! Мы вас всей батареей приветствуем, Зочка!

Умываясь, Кузнецов задохнулся от холода, от пресно-горького вкуса снега и, выпрямившись, переводя

дыхание, уже достав вместо полотенца носовой платок — не хотелось возвращаться в вагон, — опять услышал позади смех, громкий говор солдат. Потом свежий женский голос сказал за спиной:

— Не понимаю, первая батарея, что у вас здесь происходит?

Кузнецов обернулся. Вблизи вагона среди улыбающихся солдат стояла санинструктор батареи Зоя Елагина в кокетливом белом полушубке, в аккуратных белых валенках, в белых вышитых рукавичках, не военная, вся, мнилось, празднично чистая, зимняя, пришедшая из другого, спокойного, далекого мира. Зоя строгими, сдерживающими смех глазами смотрела на Дроздовского. А он, не замечая ее, тренированными движениями, сгибаясь и разгибаясь, быстро растирал сильное порозовевшее тело, бил ладонями по плечам, по животу, делая выдохи, несколько театрально подымая грудную клетку вдохами. Все теперь смотрели на него с тем же выражением, какое было в глазах Зои.

— Лейтенант! — окликнула Зоя звонким голосом. — Можно спросить: когда вы окончите процедуру? Я хотела бы к вам обратиться.

Лейтенант Дроздовский стряхнул с груди снег и с неодобрительным видом человека, которому помешали, развязал полотенце на талии, разрешил без охоты:

— Обращайтесь.

— Доброе утро, товарищ комбат! — сказала она, и Кузнецов, вытираясь платком, увидел, как чуть подрожали кончики ее ресниц, мохнато опущенных

инеем. — Вы мне нужны. Ваша батарея может уделить мне внимание?

Не спеша Дроздовский перекинул полотенце через шею, двинулся к вагону; поблескивали, лоснились омытые снегом плечи; короткие волосы влажны; он шел, властно глядя на толпившихся у вагона солдат своими синими, почти прозрачными глазами. На ходу уронил небрежно:

— Догадываюсь, санинструктор. Пришли в батарею произвести осмотр по форме номер восемь? Вшей нет.

— Дорогая Зочка! — подхватил сержант Нечаев, скользя размягченным взглядом по опрятно-чистенькому полушубку Зои, по санитарной сумке на ее бедре. — В нашей батарее абсолютный порядок. Паразитических насекомых днем с огнем не найдете. Не тот адрес... Как сегодня спали? Никто не мешал?

— Много болтаете, Нечаев! — отсек Дроздовский и, пройдя мимо Зои, взбежал по железной лесенке в вагон, наполненный говором вернувшихся от кухни, взбудораженных перед завтраком солдат, с дымящимся супом в котелках, с тремя набитыми сухарями и буханками хлеба вещмешками. Солдаты с обычной для такого дела толкотней расстилали на нижних нарах чью-то шинель, приготавливаясь на ней резать хлеб, нажженные холодом лица озабочены хозяйственной занятостью. И Дроздовский, надевая гимнастерку, одергивая ее, скомандовал:

— Тихо! Нельзя ли без базара? Командиры орудий, наведите порядок! Нечаев, что вы там стоите? Займитесь-

ка продуктами. Вы, кажется, мастер делить! С санитарструктором займется без вас.

Сержант Нечаев извинительно кивнул Зое, взобрался в вагон, подал оттуда голос:

— В чем причина, кореш, прекратить аврал! Чего расшумелись, как танки?

И Кузнецов, испытывая неудобство оттого, что Зоя видела эту шумную суету занятых дележкой продуктов солдат, уже не обращавших на нее внимания, хотел сказать с какой-то ужасающей его самого лихой интонацией: «Вам в самом деле нет смысла проводить в наших взводах осмотр. Но просто хорошо, что вы к нам пришли».

Он до конца не объяснил бы самому себе, почему почти каждый раз при появлении Зои в батарее всех толкало на этот отвратительный, пошлый тон, на который подмывало сейчас и его, беспечный тон заигрывания, скрытого намека, будто ее приход ревниво раскрывал что-то каждому, будто на ее слегка заспанном лице, порой в тених под глазами, в ее губах читалось нечто обещающее, порочное, тайное, что могло быть у нее с медсанбатскими молодыми врачами в санитарном вагоне, где находилась она большую часть пути. Но Кузнецов догадывался, что на каждой остановке она приходила в батарею не только для санитарного осмотра. Ему казалось, что она искала общения с Дроздовским.

— В батарее все в порядке, Зоя, — проговорил Кузнецов. — Не нужно никаких осмотров. Тем более — завтрак.

Зоя дернула плечами.

— Ка-акой особый вагон! И никаких жалоб. Не делайте наивный вид, вам уж это не идет! — сказала она, измеряя взмахом ресниц Кузнецова, насмешливо улыбаясь. — А ваш любимый лейтенант Дроздовский после своих сомнительных процедур, думаю, окажется не на передовой, а в госпитале!

— Во-первых, он не мой любимый, — ответил Кузнецов. — Во-вторых...

— Благодарю, Кузнецов, за откровенность. А во-вторых? Что вы думаете обо мне, во-вторых?

Лейтенант Дроздовский, одетый уже, стягивая шинель ремнем с мотающейся новенькой кобурой, легко спрыгнул на снег, взглянул на Кузнецова, на Зою, медлительно договорил:

— Хотите сказать, санинструктор, что я похож на самострела?

Зоя откинула голову с вызовом:

— Может быть, и так... По крайней мере, возможность не исключена.

— Вот что, — решительно объявил Дроздовский, — вы не классный руководитель, а я не школьник. Прошу вас отправиться в санитарный вагон. Ясно?.. Лейтенант Кузнецов, остаётся за меня. Я — к командиру дивизиона.

Дроздовский с непроницаемым лицом вскинул руку к виску и гибкой, упругой походкой прекрасного строевика, как корсетом затянутый ремнем и новой портупеей, зашагал мимо оживленно снующих по рельсам солдат. Перед ним расступались, замолкали от одного вида его, а он шел, словно раздвигая солдат

взглядом, в то же время отвечая на приветствия коротким и небрежным взмахом руки. Солнце в радужных морозных кольцах стояло над сияющей белизной степи. Вокруг колодца по-прежнему собиралась и сейчас же рассеивалась густая толпа; тут набирали воду и умывались, сняв шапки, охая, фыркая, ежась; потом бежали к призывно дымившим в середине эшелона кухням, на всякий случай огибая группу дивизионных командиров возле заиндевелого пассажирского вагона.

К этой группе шел Дроздовский.

И Кузнецов видел, как с непонятным беспомощным выражением Зоя следила за ним вопросительными, с легкой косинкой глазами. Он предложил:

— Может, хотите позавтракать с нами?

— Что? — спросила она невнимательно.

— Вместе с нами. Вы ведь не завтракали еще, наверное.

— Товарищ лейтенант, все стынет! Ждем вас! — крикнул Нечаев из двери вагона. — Супец-пюре гороховый, — добавил он, черпая ложкой из котелка и облизывая уски. — Не подавишься — жив будешь!

За его спиной шумели солдаты, разбирали с разостланной шинели свои порции, иные с довольным смешком, иные ворчливо рассаживаясь на нарах, погружая ложки в котелки, впиваясь зубами в черные, промерзшие ломти хлеба. И теперь уж никто не обращал внимания на Зою.

— Чибисов! — позвал Кузнецов. — А ну-ка мой котелок санинструктору!

— Сестренка!.. Чего ж вы? — певуче отозвался из вагона Чибисов. — Кумпания у нас, можно сказать, веселая.

— Да... хорошо, — рассеянно сказала она. — Может быть... Конечно, лейтенант Кузнецов. Я не завтракала. Но... мне ваш котелок? А вы?

— Я потом. Голодный не останусь, — ответил Кузнецов. Торопливо прожевывая, Чибисов подошел к дверям, чересчур охотно выставил из поднятого воротника заросшее личико; как в детской игре, закивал Зоя с приятным участием, худой, маленький, в куцей, нелепо сидевшей на нем широкой шинели.

— Залезайте, сестренка. А чего ж!..

— Я немного поем из вашего котелка, — сказала Зоя Кузнецову — Только вместе с вами. Иначе не буду...

Солдаты завтракали с сопением, криканьем; и после первых ложек теплого супа, после первых глотков кипятка опять стали поглядывать на Зою любопытно. Расстегнув ворот нового полушубка так, что видно было белое горло, она осторожно ела из котелка Кузнецова, поставив котелок на колени, опустив глаза под взглядами, обращенными на нее.

Кузнецов ел с ней вместе, старался не смотреть, как она опрятно подносила ложку к губам, как ее горло двигалось при глотании; опущенные ресницы были влажны, в растаявшем инее, слиплись, чернели, прикрывая блеск глаз, выдававших ее волнение. Ей было жарко возле раскаленной печи. Она сняла шапку, каштановые волосы рассыпались по белому меху воротника, и без шапки вдруг выявилась незащищенно

жалкой, скуластенькой, большебертой, с напряженно детским, даже робким лицом, странно выделявшимся среди распаренных, побагровевших от еды лиц артиллеристов, и впервые заметил Кузнецов: она была некрасива. Он никогда раньше не видел ее без шапки.

— «В парке Чаир распускаются ро-озы, в парке Чаир наступает весна...».

Сержант Нечаев, расставив ноги, стоял в проходе, тихонько напевал, оглядывая Зою с ласковой усмешкой, а Чибисов особенно услужливо налил полную кружку чаю и протянул ей. Она взяла горячую кружку кончиками пальцев, смущенно сказала:

— Спасибо, Чибисов. — Подняла влажно светящиеся глаза на Нечаева. — Скажите, сержант, что это за парки и розы? Не понимаю, почему вы все время о них поете?

Солдаты зашевелились, поощрительно подбадривая Нечаева:

— Давай-давай, сержант, вопрос есть. Откуда такие песенки?

— Владивосток, — мечтательно ответил Нечаев. — Увольнительная на берег, танцплощадка, и — «В парке Чаир...» Три года прослужил под это танго. Убиться можно, Зоя, какие были девушки во Владивостоке — королевы, балерины! Всю жизнь буду помнить!

Он поправил морскую пряжку, сделал руками жест, обозначая объятие в танце, сделал шаг, вильнул бедрами напевая:

— «В парке Чаир наступает весна... Снятся твои золотистые косы...». Трам-па-па-пи-па-пи...

Зоя напряженно засмеялась.

— Золотистые косы... Розы. Довольно пошлые слова, сержант... Королевы и балерины. А разве вы когда-нибудь видели королев?

— В вашем лице, честное слово. У вас фигурка королевы, — смело сказал Нечаев и подмигнул солдатам.

«Зачем он смеется над ней? — подумал Кузнецов. — Почему я раньше не замечал, что она некрасива?»

— Если б не война, — ох, Зоя, вы меня недооцениваете, — украл бы я вас темной ночью, увез бы на такси куда-нибудь, сидел бы в каком-нибудь загородном ресторане у ваших ног с бутылкой шампанского, как перед королевой... И тогда — чихать на белый свет! Согласились бы, а?

— На такси? В ресторан? Это романтично, — сказала Зоя, переждав смех солдат. — Никогда не испытывала.

— Со мной все испытали бы.

Сержант Нечаев сказал это, обволакивая Зою карими глазами, и Кузнецов, почувствовав обнаженную скользкость в его словах, прервал строго:

— Хватит, Нечаев, чепуху молоть! Наговорили с три короба! При чем здесь ресторан, черт возьми! Какое это имеет отношение!.. Зоя, пейте, пожалуйста, чай.

— Смешные вы, — сказала Зоя, и будто отражение боли появилось в тонкой морщинке на ее белом лбу.

Она все держала кончиками пальцев горячую кружку перед губами, но не отпивала, как прежде, маленькими глотками чай; и эта скорбная морщинка,

казавшаяся случайной на белой коже, не распрямлялась, не разглаживалась на ее лбу. Зоя поставила кружку на печь и спросила Кузнецова с нарочитой дерзостью:

— Вы что на меня так смотрите? Что вы ищете на моем лице? Сажу от печки? Или тоже, как Нечаев, вспомнили каких-то там королев?

— О королевах я читал только в детских сказках, — ответил Кузнецов и нахмурился, чтобы скрыть неловкость.

— Смешные вы все, — повторила она.

— А сколько вам лет, Зоя, восемнадцать? — угадываяще поинтересовался Нечаев. — То есть, как говорят на флоте, сошли со стапелей в двадцать четвертом? Я на четыре года старше вас, Зочка. Существенная разница.

— Не угадали, — улыбаясь, сказала она. — Мне тридцать лет, товарищ стапель. Тридцать лет и три месяца.

Сержант Нечаев, изобразив крайнее удивление на смуглом лице, произнес тоном игривого намека:

— Неужели так хотите, чтоб было тридцать? Тогда сколько лет вашей маме? Она похожа на вас? Разрешите ее адресок. — Тонкие усики поднялись в улыбке, разъехались над белыми зубами. — Буду вести фронтовую переписку. Обменяемся фото.

Зоя брезгливо обвела взглядом поджарую фигуру Нечаева, сказала с дрожью в голосе:

— Как вас напичкали пошлостью танцплощадки! Адрес? Пожалуйста. Город Перемышль, второе городское кладбище. Запишете или запомните? После

сорок первого года у меня нет родителей, — ожесточенно договорила она. — Но знайте, Нечаев, у меня есть муж... Это правда, миленькие, правда! У меня есть муж...

Стало тихо. Солдаты, слушавшие разговор без сочувственного поощрения этой шалой, затеянной Нечаевым игре, перестали есть — все разом повернулись к ней. Сержант Нечаев, с ревливой недоверчивостью взглядываясь в лицо Зои, сидевшей с опущенными глазами, спросил:

— Кто он, ваш муж, если не секрет? Командир полка, возможно? Или слухи ходят, что вам нравится наш лейтенант Дроздовский?

«Это, конечно, неправда, — тоже без доверия к словам ее подумал Кузнецов. — Она это сейчас выдумала. У нее нет мужа. И не может быть».

— Ну, хватит, Нечаев! — сказал Кузнецов. — Перестаньте задавать вопросы! Вы как испорченная патефонная пластинка. Не замечаете?

И он встал, оглянул вагон, пирамиду с оружием, ручной пулемет ДП внизу пирамиды; заметив на нарах нетронутый котелок с супом, порцию хлеба, беленькую кучку сахара на газете, спросил:

— А старший сержант Уханов где?

— У старшины, товарищ лейтенант, — ответил с верхних нар, сидя на поджатых ногах, молоденький казах Касымов. — Сказал: чашка бери, хлеб бери, сам придет...

В короткой телогрейке, в ватных брюках, Касымов бесшумно спрыгнул с нар; криво расставив ноги в валенках, замерцал узкими щелчками глаз.

— Поискать можно, товарищ лейтенант?

— Не надо. Завтракайте, Касымов.

Чиби́сов же, вздохнув, заговорил ободряюще, певуче:

— Муж-то ваш, сестренка, сердитый или как? Сурьезный, верно, человек?

— Спасибо за гостеприимство, первая батарея! — Зоя тряхнула волосами и улыбнулась, разомкнув над переносицей брови, надела свою новую с заячьим мехом шапку, заправила под шапку волосы. — Вот, кажется, и паровоз подадут. Слышите?

— Последний прогон до передовой — и здрасте, фрицы, я ваша тетя! — крикнул кто-то с верхних нар и нехорошо засмеялся.

— Зочка, не уходите от нас, ей-Богу! — сказал Нечаев. — Оставайтесь в нашем вагоне. Для чего вам муж? Зачем он вам на войне?

— Должно, два паровоза подадут, — сообщил с нар прокуренный голос. — Сейчас нас быстро. Последняя остановка. И — Сталинград.

— А может, не последняя? Может, здесь?..

— Что ж, скорей бы! — сказал Кузнецов.

— Кто сказал — паровоз? Очумели? — громко выговорил наводчик Евстигнеев, сержант в годах, с обстоятельной деловитостью пивший чай из кружки, и рывком вскочил, выглянул из двери вагона.

— Что там, Евстигнеев? — окликнул Кузнецов. — Команда?

И, повернувшись, увидел его задранную большую голову, в тревоге рыскающие по небу глаза, но не услышал ответа. С двух концов эшелона забили зенитки.

— Кажись, братцы, дождались! — крикнул кто-то, прыгая с нар. — Прилетели!

— Вот тебе и паровоз! С бомбами...

В лихорадочный лай зениток сейчас же врезался приближающийся тонкий звон, затем спаренный бой пулеметов пропорол воздух над эшелоном — и в вагон из степи ворвался крик предупреждающих голосов: «Воздух! „Мессера“!» Наводчик Евстигнеев, швырнув на нары кружку, бросился к пирамиде с оружием, на ходу толкнув Зою к двери, а вокруг солдаты в суматохе прыгали с нар, хватая карабины из пирамиды. На короткий миг в голове Кузнецова скользнула мысль: «Только спокойно. Я выйду последним!» И он скомандовал:

— Все из вагона!

Две эшелонные зенитки забили так оглушительно близко, что частые удары их толчками звона отдавались в ушах. Стремительно настигающий звук моторов, клекот пулеметных очередей дробным цоканьем рассыпался над головой, прошел по крыше вагона.

Бросаясь к раскрытой двери, Кузнецов увидел прыгающих на снег солдат с карабинами, разбегающихся по солнечно-белой степи. И, испытывая холодную легкость в животе, выпрыгнул из вагона сам, в несколько прыжков достиг огромного, отливающего синью по скату

сугроба, с разбега упал с кем-то рядом, затылком чувствуя пронзительно сверлящий воздух свист. С трудом преодолевая эту гнущую к земле тяжесть в затылке, он все-таки поднял голову.

В огромном холодно-голубом сиянии зимнего неба, алюминиево сверкая тонкими плоскостями, вспыхивая на солнце плексигласом колпаков, пикировала на эшелон тройка «мессершмиттов».

Обесцвеченные солнцем трассы зенитных снарядов непрерывно вылетали им навстречу с конца и спереди эшелона, рассыпались пунктиром, а вытянутые осиные тела истребителей падали все отвеснее, все круче, неслись вниз, дрожа острым пламенем пулеметов, скорострельных пушек. Густая радуга трасс неслась сверху сбоку вагонов, от которых бежали люди.

Над самыми крышами вагонов первый истребитель выровнялся и пронесся горизонтально вдоль эшелона, остальные два мелькнули за ним.

Впереди паровоза, колыхнув воздух, вырос бомбовый разрыв, взвились смерчи снега — и, круто набрав высоту, сделав разворот в сторону солнца, истребители, снижаясь, вновь понеслись к эшелону

«Они нас всех хорошо видят, — возникло у Кузнецова. — Надо что-то делать!»

— Огонь!.. Огонь из карабинов по самолетам! — Он встал на колени, подав команду, и тотчас по другую сторону сугроба увидел поднятую голову Зои — брови ее удивленно скошены, замершие глаза расширены. Крикнул ей: — Зоя, в степь! Отползайте дальше от вагонов!

Но она, молча кусая губы, смотрела на эшелон. Туда прыжками бежал лейтенант Дроздовский в своей, как облитой по телу, узкой шинели и что-то кричал — понять было нельзя. Дроздовский вскочил в раскрытые двери вагона и выпрыгнул оттуда с ручным пулеметом в руках. Потом, отбежав в степь, упал вблизи Кузнецова, с бешеной спешкой втискивая сошки ДП в гребень сугроба. И, щелкнув в зажимы диск, полоснул очередью по истребителям, которые пикировали из сияющей синевы неба, пульсируя рваными вспышками.

Прямой огненный коридор трасс, нацеленных к земле, стремительно приближался. В голову Кузнецова ударило оглушительным треском очередей, пронизывающим звоном мотора, радужно, как в калейдоскопе, засверкало в глаза. В лицо брызнуло ледяной пылью, сбитой пулеметными очередями с сугроба. И в ревущей черноте, на секунду закрывшей небо, кувыркались, прыгали в снегу стреляные крупнокалиберные гильзы. Но непостижимее всего было то, что Кузнецов успел заметить в несущемся вниз плексигласовом колпаке «мессершмитта» яйцевидную, обтянутую шлемом голову летчика.

Обдав железным звоном моторов, самолеты вышли из пике в нескольких метрах от земли, выровнялись, быстро набирая высоту над степью.

— Володя!.. Не вставай! Подожди!.. — услышал он вскрик и тут же увидел, как Дроздовский отбросил пустой диск, пытаясь встать, а Зоя, цепко обняв, прижималась грудью к нему, не отпускала его. — Володя! Прошу тебя!..

— Не видишь — диск кончился! — кричал Дроздовский, перекосив лицо, отталкивая Зою. — Не мешай! Не мешай, говорят!

Он расцепил ее руки, побежал к вагону, а она, растерянная, лежала в снегу, и тогда Кузнецов подполз к ней вплотную.

— Что с пулеметом?

Она взглянула — выражение ее лица мгновенно изменилось, стало вызывающим, неприятным.

— А, лейтенант Кузнецов? Что же вы по самолетам не стреляете? Трусите? Один Дроздовский?..

— Из чего, из пистолета стрелять?.. Так считаете?

Она не ответила ему.

Истребители пикировали впереди эшелона, крутились над паровозом, и густо задымились два первых пультмановских вагона. Лоскутья пламени выскальзывали из раскрытых дверей, ползли по крыше. И этот возникший пожар, занявшиеся пламенем крыши, упорное пикирование «мессершмиттов» вдруг вызвали у Кузнецова чувство тошнотного бессилия, и показалось ему, что эти три самолета не улетят до тех пор, пока не разгромят весь эшелон.

«Нет, сейчас у них кончатся патроны, — стал внушать себе Кузнецов. — Сейчас кончатся...»

Но истребители сделали разворот и снова на бреющем пошли вдоль эшелона.

— Санита-ар! Сестра-а! — донесся крик со стороны горящих вагонов, и фигурки хаотично заметались там, волоча кого-то по снегу.

— Меня, — сказала Зоя и вскочила, оглядываясь на раскрытые двери вагона, на воткнутый в сугроб пулемет. — Кузнецов, где же Дроздовский? Я иду. Скажите ему, что я туда...

Он не имел права ее остановить, а она, придерживая сумку, быстрыми шагами пошла, потом побежала по степи в направлении пожара, исчезла за сугробами.

— Кузнецов!.. Ты?

Лейтенант Дроздовский прыжками подбежал от вагона, упал возле пулемета, вставил в зажимы новый диск. Тонкое бледное его лицо было зло заострено.

— Что делают, сволочи! Где Зоя?

— Кого-то ранило впереди, — ответил Кузнецов, плотнее вжимая пулеметные сошки в твердый наст снега. — Опять сюда идут...

— Подлюки... Где Зоя, я спрашиваю? — крикнул Дроздовский, плечом припадая к пулемету, и, по мере того как один за другим пикировали «мессершмитты», глаза его суживались, зрачки черными точками леденели в прозрачной синеве.

Зенитное орудие в конце эшелона смолкло.

Дроздовский ударил длинной очередью по засверкавшему над головами вытянутому металлическому корпусу первого истребителя и не отпускал палец со спускового крючка до той секунды, пока слепящим лезвием бритвы не мелькнул фюзеляж последнего самолета.

— Попал ведь! — выкрикнул Дроздовский сдавленно. — Видел, Кузнецов? Попал ведь я!.. Не мог я не попасть!..

А истребители уже неслись над степью, пропарывая воздух крупнокалиберными пулеметами, и огненные пики трасс будто поддевали остриями распростертые на снегу тела людей, переворачивали их в винтообразных белых завертях. Несколько солдат из соседних батарей, не выдержав расстрела с воздуха, вскочили, заметались под истребителями, бросаясь в разные стороны. Потом один упал, пополз и замер, вытянув вперед руки. Другой бежал зигзагообразно, дико оглядываясь то вправо, то влево, а трассы с пикирующего «мессершмитта» настигали его наискосок сверху и раскаленной проволокой прошли сквозь него, солдат покатился по снегу, крестообразно взмахивая руками, и тоже замер; ватник дымился на нем.

— Глупо! Глупо! Перед самым фронтом!.. — кричал Дроздовский, вырывая из зажимов пустой диск.

Кузнецов, встав на колени, скомандовал в сторону ползающих по степи солдат:

— Не бегать! Никому не бегать, лежать!..

И тут же услышал свою команду, в полную силу ворвавшуюся в оглушительную тишину. Не стучали пулеметы. Не давил на голову рев входящих в пике самолетов. Он понял — все кончилось...

Вонзаясь в синее морозное небо, истребители с тонким свистом уходили на юго-запад, а из-за сугробов неуверенно вставали солдаты, отряхивая снег с шинелей, глядя на пылающие вагоны, медленно шли к эшелону, счищали снег с оружия. Сержант Нечаев со сбитой набок морской пряжкой отряхивал шапку о колено (глянцевито-черные волосы растрепались), смеялся

насильственным смешком, скашивая с красными прожилками белки на лейтенанта Давлатяна, командира второго взвода, угловатого, щуплого, большеглазого мальчика. Давлатян сконфуженно улыбался, но его брови неумело пытались хмуриться.

— И вы со снегом целовались, а, товарищ лейтенант? — ненатурально бодро говорил Нечаев. — Нырjali в сугроб, как японский пловец! Дали они нам прикурить! Побрили они нас, братишки. Покопали мы мордами степь! — И, завидев стоящего с пулеметом лейтенанта Дроздовского, ядовито добавил: — Поползали, ха-ха!

— Чего в-вы так... никак, хохочете, Нечаев? Я н-не понимаю, — чуть запинаясь, проговорил Давлатян. — Что такое с вами?

— А вы с жизнью, никак, простились, товарищ лейтенант? — залился булькающим смешком Нечаев. — Конец, думали?

Командир взвода управления старшина Голованов, гигантского роста, нелюдимого вида парень с автоматом на покатоj груди, шедший за Нечаевым, мрачно вато одернул его:

— Говоришь несуразно, морячок.

Потом Кузнецов увидел робко и разбито ковыляющего Чибисова и рядом виноватого Касьмова, обтиравшего круглые потные скулы рукавом шинели, замкнутое, смятое стыдом лицо пожилого наводчика Евстигнеева, который весь был вывален в снегу. И в душе Кузнецова подымалось что-то душное, горькое, похожее на злость за унижительные минуты всеобщей

беспомощности, за то, что сейчас их всех заставили пережить отвратительный страх смерти.

— Проверить наличие людей! — донеслось издали. — Батареям произвести поверку!

И Дроздовский подал команду:

— Командиры взводов, построить расчеты!

— Взвод управления, становись! — рокотнул старшина Голованов.

— Первый взвод, стано-вись! — подхватил Кузнецов.

— В-второй взво-од... — по-училищному запел лейтенант Давлатян. — Строиться-а!..

Солдаты, не остывшие после опасности, возбужденные, отряхиваясь, подтягивая сползшие ремни, занимали свои места без обычных разговоров: все глядели в южную сторону неба, а там было уже неправдоподобно светло и чисто.

Едва взвод был построен, Кузнецов, обежав глазами орудийные расчеты, наткнулся взглядом на наводчика Нечаева, нервно мявшегося на правом фланге, где должен был стоять командир первого орудия. Старшего сержанта Уханова в строю не было.

— Где Уханов? — обеспокоенно спросил Кузнецов. — Во время налета вы его видели, Нечаев?

«— Сам кумекаю, товарищ лейтенант, где бы ему быть», — шепотом ответил Нечаев. — На завтрак к старшине ходил. Может, там еще отирается...

— До сих пор у старшины? — усомнился Кузнецов и прошел перед взводом. — Кто видел Уханова во время налета? Кто-нибудь видел?

Солдаты, поживаясь на холоде, молчаливо переглядывались.

— Товарищ лейтенант, — опять шепотом позвал Нечаев, делая страдальческое лицо. — Посмотрите-ка! Может, там он...

Над огненным эшеленом, над снегами, над утонувшим в сугробах зданьицем разъезда покойно, как и до налета, сыпалась под солнцем мельчайшая изморозь. А впереди около уцелевших вагонов продолжалось суматошное движение, — везде выстраивались батареи, и мимо них от горящих пульманов двое солдат несли на шинели кого-то — раненого или убитого.

— Нет, — сказал Кузнецов. — Это не Уханов, он в ватнике.

— Первый взвод! — раздался чеканный голос Дроздовского. — Лейтенант Кузнецов! Почему не докладываете?

Кузнецов соображал, как он должен объяснить отсутствие Уханова, сделал пять шагов к Дроздовскому, но не успел доложить — тот произнес требовательно:

— Где командир орудия Уханов? Не вижу его в строю! Я вас спрашиваю, командир первого взвода!

— Сначала надо выяснить... жив ли он, — ответил Кузнецов и приблизился к Дроздовскому, ожидавшему его доклада с готовностью к действию. «У него такое лицо, будто не намерен верить мне», — подумал Кузнецов и отчего-то вспомнил его решительность во время налета, его бледное, заостренное лицо, когда он отталкивал Зою, выпустив по «мессершмитту» первый пулеметный диск.

— Лейтенант Кузнецов, вы куда-нибудь отпускали Уханова? — произнес Дроздовский. — Если бы он был ранен, санинструктор Елагина давно сообщила бы. Я так думаю!

— А я думаю, что Уханов задержался у старшины, — возразил Кузнецов. — Больше ему негде быть.

— Немедленно пошлите кого-нибудь в хозвзвод! Что он на кухне может делать до сих пор? Кашу, что ли, варят с поваром вместе?

— Я схожу сам.

И Кузнецов, повернувшись, зашагал по сугробам к дивизионным кухням.

Когда он подошел к хозвзводу, на платформе еще не погасли кухонные топки, а внизу, изображая внимание, стояли ездовые, писаря и повар. Старшина батареи Скорик, в длиннополой комсоставской шинели, узколицый, с хищными, близко посаженными к крючковатому носу зелеными глазами, по-кошачьи мягко прохаживался перед строем, заложив руки за спину, то и дело поглядывая на спальный вагон, у которого тесно сгрудились старшие командиры, военные железнодорожники, разговаривая с кем-то из начальства, недавно прибывшего к эшелону на длинной трофейной машине.

— Смир-рно! — затылком почуввав подошедшего Кузнецова, выкрикнул Скорик и по-балетному кругообразно скользнул на одной точке, артистическим жестом выкинул кулак к виску, распрямил пальцы. — Товарищ лейтенант, хозяйственный взвод...

— Вольно! — Кузнецов хмуро взглянул на Скорика, который голосом своим в меру выявлял соответствующее невысокому лейтенантскому званию подчинение. — Старший сержант Уханов у вас?

— Почему, товарищ лейтенант? — насторожился Скорик. — Как так он может быть здесь? Я не позволяю... А в чем дело, товарищ лейтенант? Никак, исчез? Скажи пож-жалуйста! Где ж он, голова два уха?

— Уханов был у вас в завтрак? — строго переспросил Кузнецов. — Вы его видели?

Узкое многоопытное лицо старшины выразило работу мысли, предполагаемую степень ответственности и личной причастности к случившемуся в батарее.

— Так, товарищ лейтенант, — заговорил Скорик с солидным достоинством. — Прекрасно помню. Командир орудия Уханов получал для расчета завтрак. Ругался с поваром неприлично. По причине порций. Лично вынужден был сделать ему замечание. Разболтанный, как в гражданке. Очень правильно, товарищ лейтенант, что звания ему не присвоили. Разгильдяй. Не обтесался... Может, в хутор мотанул. Вон за станцией в балке хутор! — И тотчас, солидно приосаниваясь, зашептал: — Товарищ лейтенант, генералы, никак, сюда... Батарей обходят? Вы докладываете, по уставу уж...

От спального вагона мимо построенных у эшелона батарей двигалась довольно многочисленная группа, и Кузнецов издали узнал командира дивизии полковника Деева, высокого роста, в бурках, грудь перекрещена портупьями. Рядом с ним, опираясь на палочку, шел

сухощавый, слегка неровный в походке незнакомый генерал — его черный полушубок (такого никто не носил в дивизии) выделялся меж других полушубков и шинелей.

Это был командующий армией генерал-лейтенант Бессонов.

Обгоняя полковника Деева, он шагал, чуть хромя; останавливался возле каждой батареи, выслушивал доклад, затем, переложив тонкую бамбуковую палочку из правой руки в левую, подносил ладонь к виску, продолжал обход. В тот момент, когда командующий армией и сопровождавшие его командиры задержались близ соседнего вагона, Кузнецов услышал высокий и резкий голос генерала:

— Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать вам одно: четыре месяца они осаждали Сталинград, но не взяли его. Теперь мы начали наступление. Враг должен почувствовать нашу силу и ненависть полной мерой. Запомните и другое: немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России. Не стану лгать, не обещаю вам легкие бои — немцы будут драться до последнего. Поэтому я требую от вас мужества и сознания своей силы!

Генерал выговорил последние слова возбужденным голосом, какой не мог не возбудить других; и Кузнецов колюче ощутил убеждающую власть этого худого, в черном полушубке, человека с болезненным, некрасивым лицом, который, пройдя соседнюю батарею, приближался к хозвзводу. И, еще не зная, что будет

докладывать генералу, оказавшись здесь, около кухонь, он подал команду:

— Смир-рно! Равнение направо! Товарищ генерал, хозвзвод первой батареи второго дивизиона...

Он не закончил доклад; вонзив палочку в снег, генерал-лейтенант остановился против замершего хозвзвода, вопросительно перевел жесткие глаза на командира дивизии Деева. Тот с высоты своего роста ответил ему успокаивающим кивком, улыбнулся яркими губами, сказав крепким молодым баритоном:

— Потерь здесь, товарищ генерал, нет. Все целы. Так, старшина?

— Нимая ни одного хлопца, товарищ полковник! — преданно и бодро выкрикнул Скорик, непонятно почему вставляя в речь украинские слова. — Старшина батареи Скорик! — И, по-бравому развернув грудь, застыл с тем же выражением полного послушания.

Бессонов стоял в четырех шагах от Кузнецова, были видны заиндевевшие от дыхания уголки каракулевого воротника; худощавые, гладко выбритые сизые щеки, глубокие складки властно сжатого рта; из-под приспущенных век что-то знающий, усталый взор много пережившего пятидесятилетнего человека колюче ощупывал нескладные фигуры ездových, каменную фигуру старшины. Старшина Скорик, круто выпятив грудь, сдвинув ноги, подался вперед.

— Зачем так по-фельдфебельски? — произнес генерал скрипучим голосом. — Вольно.

Бессонов выпустил из поля зрения старшину, его хозвзвод и утомленно обратился к Кузнецову.

— А вы, товарищ лейтенант, какое имеете отношение к хозяйственному взводу?

Кузнецов вытянулся молча.

— Вас застал здесь налет? — как бы подсказывая, проговорил полковник Деев, но соучастливым был его голос, брови же полковника раздраженно соединились на переносице. — Почему молчите? Отвечайте. Вас спрашивают, лейтенант.

Кузнецов почувствовал нетерпеливо-торопящее ожидание полковника Деева, заметил, как старшина Скорик и его разношерстный хозвзвод одновременно повернули к нему головы, увидел, как переминались сопровождающие командиры, и выговорил наконец:

— Нет, товарищ генерал...

Полковник Деев прижмурил на Кузнецова рыжие ресницы.

— Что «нет», лейтенант?

— Нет, — повторил Кузнецов. — Меня здесь не застал налет. Я ищу своего командира орудия. Его не оказалось на поверке. Но я думаю...

— Никаких командиров орудий в хозвзводе нет, товарищ генерал! — выкрикнул старшина, захлебнув в грудь воздух и выкатив глаза на Бессонова.

Но Бессонов не обратил на него внимания, спросил:

— Вы, лейтенант, прямо из училища? Или воевали?

— Я воевал... Три месяца в сорок первом, — проговорил Кузнецов не очень твердо. — А теперь окончил артиллерийское училище...

— Училище, — повторил Бессонов. — Значит, вы ищите своего командира орудия? Смотрели среди раненых?

— В батарее нет ни раненых, ни убитых, — ответил Кузнецов, чувствуя, что вопрос генерала об училище вызван, конечно, впечатлением о его беспомощности и неопытности.

— А в тылу, как вы понимаете, лейтенант, не бывает пропавших без вести, — поправил Бессонов сухо. — В тылу пропавшие без вести имеют одно название — дезертиры. Надеюсь, это не тот случай, полковник Деев?

Командир дивизии несколько подождал с ответом. Стало тихо. Отдаленно донеслись неразборчивые голоса, свистящее шипение паровоза. Там залязгали, загремели буфера: от состава отцепляли два пылающих пульмана.

— Не слышу ответа.

Полковник Деев заговорил с преувеличенной уверенностью:

— Командир артполка — человек новый. Но подобных случаев не было, товарищ генерал. И, надеюсь, не будет. Убежден, товарищ генерал.

У Бессонова чуть дернулся край жесткого рта.

— Что ж... Спасибо за уверенность, полковник.

Хоззвод стоял, так же не шевелясь, старшина Скорик, окаменев впереди строя, делал бровями страшные подсказывающие знаки Кузнецову, но тот не замечал. Он чувствовал сдержанное недовольство генерала при разговоре с командиром дивизии,

неспокойное внимание штабных командиров и, с трудом преодолевая скованность, спросил:

— Разрешите идти... товарищ генерал?

Бессонов молчал, недвижно всматриваясь в бледное лицо Кузнецова; озябшие штабные командиры украдкой терли уши, переступали с ноги на ногу. Они не вполне понимали, почему командующий армией так ненужно долго задерживается здесь, в каком-то хозвзводе. Никто из них, ни полковник Деев, ни Кузнецов, не знал, о чем думал сейчас Бессонов, а он, как это бывало часто в последнее время, подумал в ту минуту о своем восемнадцатилетнем сыне, пропавшем без вести в июне на Волховском фронте. Пропавшем по косвенной его вине, представлялось ему, хотя умом понимал, что на войне порой ничто не может спасти ни от пули, ни от судьбы.

— Идите, лейтенант, — проговорил тяжелым голосом Бессонов, видя неловкие усилия лейтенанта побороть растерянность. — Идите.

И он с сумрачным видом поднес руку к папаше и, окруженный группой штабных командиров, зашагал вдоль эшелона, намеренно нажимая на болевшую ногу. Она замерзала.

Боль обострялась, как только замерзала нога, а Бессонов знал, что ощущение боли в задетом осколком нерве останется надолго, к ней нужно привыкнуть. Но то, что ему постоянно приходилось испытывать мешающую боль в голени, отчего немели пальцы на правой ступне и нередко появлялось нечто похожее на страх перед бессмысленным лежанием в госпитале, куда опасался

попасть вторично, если откроется рана, и то, что после назначения в армию он все время думал о судьбе сына, рождало в нем тревожные толчки душевной неполновесности, непривычной зыбкости, чего терпеть не мог ни в себе, ни в других.

Неожиданности в жизни случались с ним не так часто. Однако назначение на новую должность — командующего армией — свалилось как снег на голову. Он принял армию новенькую, свежесформированную в глубоком тылу, уже в дни погрузки ее в вагоны (ежесуточно отправлялось на фронт до восемнадцати эшелонов), и сегодняшнее знакомство с одной из ее дивизий, разгрузившейся на нескольких станциях северо-западнее Сталинграда, не совсем удовлетворило его. Это неудовлетворение было вызвано непредвиденным налетом «мессершмиттов» и необеспечением прикрытия с воздуха района выгрузки. Выслушав же оправдательные объяснения представителя ВОСО: «Десять минут назад улетели наши истребители, товарищ командующий», — он взорвался: «Что значит — улетели? Наши улетели, а немцы вовремя прилетели! Грош цена такому обеспечению!» И, сказав так, теперь жалел о своей невоздержанности, ибо не комендант станции отвечал за прикрытия с воздуха; этот подполковник ВОСО просто первым попался ему на глаза.

Уже отойдя вместе со штабными командирами от хоззвода, Бессонов услышал за спиной негромкий голос задержавшегося у строя Деева:

— Что вы за чертовщину наговорили, лейтенант? А ну — пулей искать! Поняли? Полчаса... Даю полчаса вам!

Но Бессонов сделал вид, что ничего не услышал, когда полковник Деев догнал его возле платформы с орудиями, говоря как ни в чем не бывало:

— Я знаю эту батарею, товарищ командующий, полностью уверен в ней. Помню ее по учениям на формировке. Правда, командиры взводов очень уж молоденькие. Не оперились пока...

— В чем оправдываетесь, полковник? — перебил Бессонов. — Конкретней прошу. Яснее.

— Простите, товарищ генерал, я не хотел...

— Что не хотели? Именно? — с усталым выражением заговорил Бессонов. — Неужели вы меня тоже за мальчика принимаете? Так вот, звенеть передо мной шпорами нет смысла. Абсолютно глух к этому.

— Товарищ командующий...

— Что касается вашей дивизии, полковник, составлю о ней полное представление только после первого боя. Это запомните. Если обиделись, переживу как-нибудь.

Полковник Деев, пожав плечами, ответил обескураженно:

— Я не имею права обижаться на вас, товарищ командующий.

— Имеете! Но ясно было бы — за что!

И, вонзая палочку в снег, Бессонов повел глазами по нагнавшим их и притихшим штабным командирам,

которых он тоже еще недостаточно знал. Они, потупясь, молчали, не участвуя в разговоре.

— С-смирно! Равнение-е направо! — рванулась громкая команда спереди от темнеющего против вагонов строя.

«— Третья гаубичная батарея ста двадцати двух, товарищ генерал», — сказал полковник Деев.

— Посмотрим гаубичную, — вскользь произнес Бессонов.

Мороза оставили в отряде. Он ходил, словно в воду опущенный. Прошло ещё пару дней. И вдруг в лес прибежала Ульяна — связная с лесного кордона. Ей разрешалось приходить только в самом крайнем случае. Немцы требовали выдать Мороза, иначе угрожали повесить ребят. Ночью к Ульяне прибежали их матери, просят Христом-Богом: «Ульяночка помоги». Она в ответ: «Откуда мне знать, где тот Мороз?» А они: «Сходи, пусть он спасает мальцов. Он же умный, он их учитель».

Ещё шесть камней на душу бедного учителя! Ясно было, что и ребят не отпустят, и его убьют. Вылезли из землянки, а тут Мороз. Стоит у входа, держит винтовку, а на самом лица нету. Всё слышал и просится идти. Селезнев и Ткачук обозлились. Кричали, что надо быть идиотом, чтобы поверить немцам, будто они выпустят хлопцев. Идти — безрассудное самоубийство. А Мороз спокойно отвечает: «Это верно». И тогда Селезнев сказал: «Через час продолжим разговор». А потом обнаружили, что Мороза нигде нет. Послали в Сельцо Гусака, у которого там проживал свояк, чтобы

проследить, как оно будет дальше. Вот от этого Гусака, а потом уже и от Павла Миклашевича и стало известно, как развивались события.

Ребята сидят в амбаре, немцы допрашивают их и бьют. И ждут Мороза. Матери лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Поначалу ребята держались твёрдо: ничего не знаем, ничего не делали. Их стали истязать, и первым не стерпел Бородич, взял все на себя, и думал, что остальных отпустят. И в эту самую пору является Мороз. Рано утром, когда село ещё спало, шагнул он во двор к старосте. Немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату, старик Бохан улучил момент и говорит тихонько: «Не надо было, учитель».

Теперь вся «банда» оказалась в сборе. Хлопцы ещё в амбаре упали духом, когда услышали за дверьми голос Алеся Ивановича. До самого конца никто из них не думал, что учитель пришёл добровольно. Считали, что схватили его где-то. И он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. Под вечер вывели всех семерых на улицу, все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Старший брат близнецов Кожанов, Иван, пробрался вперёд и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев». Немец ему парабеллумом в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ивана застрелили.

Вели по той самой дороге, через мосток. Впереди Мороз с Павликом, за ним близнецы Кожаны, потом однофамильцы Смурные. Позади два полицаи волокли Бородича. Полицаев было человек семь и четыре немца.

Разговаривать никому не давали. Руки у всех были связаны сзади. А вокруг — знакомые с детства места. Миклашевич вспоминал, что такая тоска на него напала, хоть кричи. Оно и понятно. По четырнадцать-шестнадцать лет хлопцам. Что они видели в этой жизни?

Подошли к мостку. Мороз шепчет Павлику: «Как крикну, бросайся в кусты». Павлику показалось тогда, что Мороз что-то знает. А лесок вот уже — рядом. Дорога узенькая, два полицаи идут впереди, двое по сторонам. Внезапно Мороз громко крикнул: «Вот он, вот — смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. И так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда глянул. Но только раз глянул, потом прыгнул в противоположную сторону и оказался в чаще. Спустя секунды кто-то ударил из винтовки, потом ещё. Полицаи приволокли Павла. Рубашка на его груди пропиталась кровью, голова обвисла. Мороза избили так, что уже не поднялся. Каин для уверенности ударил Павлика прикладом по голове и спихнул в канаву с водой.

Там его и подобрали ночью. А тех шестерых довели до местечка и подержали ещё пять дней. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. На телефонном столбе у почты укрепили перекладину — толстый такой брус, получилось подобие креста. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных, то с одной, то с другой стороны. Для равновесия. Так и стояло это коромысло несколько дней. Закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, когда война кончилась, перехоронили поближе к Сельцу.

Когда в 44-м выбили немцев, в Гродно остались кое-какие бумаги: документы полиции, гестапо. И нашли одну бумагу касательно Алеся Ивановича Мороза. Обыкновенный листок из тетрадки в клетку, написано по-белорусски, — рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля 42-го команда полицейских под его началом захватила главаря местной партизанской банды Алеся Мороза. Эта ложь была нужна Каину, да и немцам. Взяли ребят, а через три дня поймали и главаря банды — было о чём рапортовать. К тому же, когда в отряде набралось немало убитых и раненых, потребовали из бригады данные о потерях. Вспомнили Мороза. Он всего два дня в партизанах побыл. Селезнев и говорит: «Напишем, что попал в плен. Пусть сами разбираются». Так к немецкому прибавился ещё и наш документ. И опровергнуть эти две бумажки было почти невозможно. Спасибо Миклашевичу. Он все-таки доказал истину.

Но здоровья он так и не набрал. Грудь прострелена навывлет, да ещё столько времени в талой воде пролежал. Начался туберкулёз. Почти каждый год в больницах лечился. В последнее время, казалось, неплохо себя чувствовал. Но пока лечил лёгкие, сдало сердце. «Доконала таки война нашего Павла Ивановича, — закончил Ткачук.

Мимо проскочила машина, но вдруг замедлила ход и остановилась. Заведующий районо Ксендзов согласился подвезти. Машина тронулась. Заведующий повернулся вполоборота и продолжил спор, начатый в Сельце. Ксендзов менторским тоном вещал, что есть

герои не чета этому Морозу, который даже ни одного немца не убил. И поступок его безрассуден — никого не спас. А Миклашевич случайно остался в живых. И никакого подвига в этом он не видит. Ткачук, более не сдерживаясь, ответил, что видно заведующий душевно близорукий! И остальные, подобные ему — слепые и глухие, невзирая на посты и ранги. Ксендзову всего 38 лет, и войну он знает по газетам да по кино. А Ткачук её своими руками делал. И Мороз принял участие. Миклашевич в её когтях побывал, да так и не вырвался. Закончилось тем, что Ткачук обозвал Ксендзова «безмозглым дураком» и потребовал остановить машину. Шофёр стал притормаживать. Журналист попытался его остановить. Ткачук бросил ещё несколько фраз о том, что такие люди, как Ксендзов, опасны тем, что для них всё ясно загодя. Но так нельзя жить. Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров и судеб. Их нельзя втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб поменьше хлопот. Мороз сделал больше, чем если бы убил сто немцев. Он жизнь положил на плаху добровольно. Нет ни Мороза, ни Миклашевича. Но ещё жив Тимофей Ткачук! И больше молчать он не будет. Всем расскажет о подвиге Мороза.

Не встретив возражений, Ткачук замолчал. Ксендзов тоже молчал, уставившись на дорогу. Фары ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побелёнными стволами...

Подъезжали к городу.

СИМОНОВ К.М.

Родился Константин 15 (28) ноября 1915 года в Петрограде. Но первые годы жизни Симонов прожил в Саратове, Рязани. Родителями был назван Кириллом, но затем изменил свое имя и взял псевдоним – Константин Симонов. Воспитывался отчимом, который был военным специалистом и преподавал в военных училищах. В 1940 году была написана первая пьеса Симонова «История одной любви», а в 1941 году – торая – «Парень из нашего города».

Обучался Константин Симонов на курсах военных корреспондентов, затем, с началом войны, писал для газет «Боевое знамя», «Красная звезда».

За всю жизнь Константин Михайлович Симонов получил несколько военных званий, самым высоким из которых стало звание полковника, присвоенное писателю уже после окончания войны.

Одними из известных военных произведений Симонова стали: «Жди меня», «Война», «Русские люди». После войны в биографии Константина Симонова наступил период командировок: он ездил в США, Японию, Китай, два года жил в Ташкенте. Работал главным редактором «Литературной газеты», журнала «Новый мир», входил в состав Союза писателей. По многим произведениям Симонова были сняты фильмы.

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»

Глава первая

Первый день войны застал семью Синцовых врасплох, как и миллионы других семей. Казалось бы, все давно ждали войны, и все-таки в последнюю минуту она обрушилась как снег на голову; очевидно, вполне приготовить себя заранее к такому огромному несчастью вообще невозможно.

О том, что началась война, Синцов и Маша узнали в Симферополе, на жарком привокзальном пяточке. Они только что сошли с поезда и стояли возле старого открытого «линкольна», ожидая попутчиков, чтобы в складчину доехать до военного санатория в Гурзуфе.

Оборвав их разговор с шофером о том, есть ли на рынке фрукты и помидоры, радио хрипло на всю площадь сказало, что началась война, и жизнь сразу разделилась на две несоединимые части: на ту, что была минуту назад, до войны, и на ту, что была теперь.

Синцов и Маша донесли чемоданы до ближайшей скамейки. Маша села, уронила голову на руки и, не шевелясь, сидела как бесчувственная, а Синцов, даже не спрашивая ее ни о чем, пошел к военному коменданту брать места на первый же отходящий поезд. Теперь им предстояло сделать весь обратный путь из Симферополя в Гродно, где Синцов уже полтора года служил секретарем редакции армейской газеты.

К тому, что война была несчастьем вообще, в их семье прибавлялось еще свое, особенное несчастье: политрук Синцов с женой были за тысячу верст от войны, здесь, в Симферополе, а их годовалая дочь осталась там, в

Гродно, рядом с войной. Она была там, они тут, и никакая сила не могла перенести их к ней раньше чем через четверо суток.

Стоя в очереди к военному коменданту, Синцов пробовал представить себе, что сейчас творится в Гродно. «Слишком близко, слишком близко к границе, и авиация, самое главное — авиация... Правда, из таких мест детей сразу же могут эвакуировать...» Он зацепился за эту мысль, ему казалось, что она может успокоить Машу.

Он вернулся к Маше, чтобы сказать, что все в порядке: в двенадцать ночи они выедут обратно. Она подняла голову и посмотрела на него как на чужого.

— Что в порядке?

— Я говорю, что с билетами все в порядке, — повторил Синцов.

— Хорошо, — равнодушно сказала Маша и опять опустила голову на руки.

Она не могла простить себе, что уехала от дочери. Она сделала это после долгих уговоров матери, специально приехавшей к ним в Гродно, чтобы дать возможность Маше и Синцову вместе съездить в санаторий. Синцов тоже уговаривал Машу ехать и даже обиделся, когда она в день отъезда подняла на него глаза и спросила: «А может, все-таки не поедем?» Не послушайся она их обоих тогда, сейчас она была бы в Гродно. Мысль быть там сейчас не пугала ее, пугало, что ее там нет. В ней жило такое чувство вины перед оставленным в Гродно ребенком, что она почти не думала о муже.

Со свойственной ей прямоотой она сама вдруг сказала ему об этом.

— А что обо мне думать? — сказал Синцов. — И вообще все будет в порядке.

Маша терпеть не могла, когда он говорил так: вдруг ни к селу ни к городу начинал бессмысленно успокаивать ее в том, в чем успокоить было нельзя.

— Брось болтать! — сказала она. — Ну что будет в порядке? Что ты знаешь? — У нее даже губы задрожали от злости. — Я не имела права уехать! Понимаешь: не имела права! — повторила она, крепко сжатым кулаком больно ударяя себя по коленке.

Когда они сели в поезд, она замолчала и больше не упрекала себя, а на все вопросы Синцова отвечала только «да» и «нет». Вообще всю дорогу, пока они ехали до Москвы, Маша жила как-то механически: пила чай, молча глядела в окно, потом ложилась на свою верхнюю полку и часами лежала, отвернувшись к стене.

Вокруг говорили только об одном — о войне, а Маша словно и не слышала этого. В ней совершалась большая и тяжелая внутренняя работа, к которой она не могла допустить никого, даже Синцова.

Уже под Москвой, в Серпухове, едва поезд остановился, она впервые за все время сказала Синцову:

— Выйдем, погуляем...

Вышли из вагона, и она взяла его под руку.

— Знаешь, я теперь поняла, почему с самого начала почти не думала о тебе: мы найдем Таню, отправим ее с мамой, а я останусь с тобой в армии.

— Уже решила?

— Да.

— А если придется перерешить?

Она молча покачала головой.

Тогда, стараясь быть как можно спокойней, он сказал ей, что два вопроса — как найти Таню и идти или не идти в армию — надо разделить...

— Не буду я их делить! — прервала его Маша.

Но он настойчиво продолжал объяснять ей, что будет куда разумнее, если он поедет к месту службы, в Гродно, а она, наоборот, останется в Москве. Если семьи эвакуировали из Гродно (а это, наверное, сделали), то Машина мать вместе с Таней уж конечно постарается добраться до Москвы, до своей собственной квартиры. И Маше, хотя бы для того, чтобы не разбегаться с ними, самое разумное — ждать их в Москве.

— Может быть, они уже сейчас там, приехали из Гродно, пока мы едем из Симферополя!

Маша недоверчиво посмотрела на Синцова и опять замолчала до самой Москвы.

Они приехали в старую артемьевскую квартиру на Усачевке, где так недавно и так беззаботно прожили двое суток по дороге в Симферополь.

Из Гродно никто не приезжал. Синцов надеялся на телеграмму, но и телеграммы не было.

— Сейчас я поеду на вокзал, — сказал Синцов. — Может быть, достану место, сяду на вечерний. А ты попробуй позвонить, вдруг удастся.

Он вынул из кармана гимнастерки записную книжку и, вырвав листок, записал Маше гродненские редакционные телефоны.

— Подожди, сядь на минуту, — остановила она мужа. — Я знаю, ты против того, чтобы я ехала. Но как все-таки это сделать?

Синцов стал говорить, что делать этого не надо. К прежним доводам он прибавил новый: если даже ей дадут сейчас доехать до Гродно, а там возьмут в армию — в чем он сомневается, — неужели она не понимает, что ему от этого будет вдвое тяжелей?

Маша слушала, все больше и больше бледнея.

— А как же ты не понимаешь, — вдруг закричала она, — как же ты не понимаешь, что я тоже человек?! Что я хочу быть там, где ты?! Почему ты думаешь только о себе?

— Как «только о себе»? — ошеломленно спросил Синцов.

Но она, ничего не ответив, горько разрыдалась; а когда выплакалась, сказала деловым голосом, чтобы он ехал на вокзал доставать билеты, а то опоздает.

— И мне тоже. Обещаешь?

Разозленный ее упрямством, он наконец перестал шадить ее, отрубил, что никаких штатских, тем более женщин, в поезд, идущий до Гродно, сейчас не посадят, что уже вчера в сводке было Гродненское направление и пора, наконец, трезво смотреть на вещи.

— Хорошо, — сказала Маша, — если не посадят, значит, не посадят, но ты постарайся! Я тебе верю. Да?

— Да, — угрюмо согласился он.

И это «да» много значило. Он никогда не лгал ей. Если ее можно будет посадить в поезд, он возьмет ее.

Через час он с облегчением позвонил ей с вокзала, что получил место на поезд, отходящий в одиннадцать вечера в Минск, — прямо до Гродно поезда нет, — и комендант сказал, что сажать в этом направлении не приказано никого, кроме военнослужащих.

Маша ничего не ответила.

— Что ты молчишь? — крикнул он в трубку.

— Ничего. Я пробовала звонить в Гродно, сказали, что связи пока нет.

— Ты пока переложи все мои вещи в один чемодан.

— Хорошо, переложу.

— Я сейчас попробую пробиться в политуправление. Может быть, редакция куда-нибудь переместилась, попробую узнать. Часа через два буду. Не скучай.

— А я не скучаю, — все тем же бескровным голосом сказала Маша и первая повесила трубку.

Маша перекладывала вещи Синцова и неотступно думала все об одном и том же: как же все-таки она могла уехать из Гродно и оставить там дочь? Она не солгала Синцову, она и в самом деле не могла отделить своих мыслей о дочке от мыслей о самой себе: дочь надо найти и отправить сюда, а самой остаться вместе с ним там, на войне.

КАПИЕВ Э.М.

Эффенди Мансурович Капиев (13 марта 1909, село Кумух, Дагестанская область — 27 января 1944, Пятигорск) — дагестанский советский прозаик, литературовед, публицист, поэт, переводчик, писавший на русском, лакском и кумыкском языках.

Эффенди Капиев, лакец по происхождению, родился в дагестанском селении Кумух в семье мастера-кустаря, гравера и ювелира. Детские годы провёл в Ставрополье, находясь там с отцом-отходником, там же обучился русскому языку, познакомился со стихами Пушкина и Кольцова. В 1919 году семья Капиевых вернулась в Дагестан и обосновалась в Темир-Хан-Шуре, где Эффенди сперва воспитывался в детском доме, а позже был определён в школу-интернат для горских детей при Буйнакском педагогическом училище. Отлично владел кумыкским языком.

С началом Великой Отечественной войны по болезни не был призван в Красную Армию. С первых дней войны по заданию Пятигорского городского Комитета Оборона выступал с чтением своих произведений в госпиталях, на антифашистских митингах, перед воинами, отправляющимися на фронт, перед строителями оборонительных сооружений, выпускал сатирические агитки.

В январе 1942 года вместе с С.П. Бабаевским был командирован в действующую армию на Южный фронт, в Ставропольскую кавалерийскую дивизию, для

написания книги о её людях и героических делах. Книга «Казаки на фронте» была издана в Пятигорске, но до читателя не дошла, весь её тираж был уничтожен оккупантами.

Осенью 1942 года в качестве спецкора газеты «Дагестанская правда» вновь находился в действующей армии под Моздоком. Вскоре на страницах газеты появились его очерки: «В отряде Кара Караева», «Письма немцев с Кавказа» и другие.

С 27 ноября 1942 года работал вольнонаёмным корреспондентом газеты Северо-Кавказского фронта «Вперёд за Родину!».

21 января 1944 года был госпитализирован в Пятигорский госпиталь № 5430, где умер 27 января после операции по поводу язвы желудка.

«ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ»

(фрагмент)

О том, как отделению сержанта Петра Тихоновича Тарана (украинец с Полтавщины, двадцати двух лет), силача и весельчака, было поручено проделать проход в проволочном заграждении, прикрывавшем оборонительный рубеж немцев. Специальных инструментов для резка проволоки под рукой не оказалось. Таран решил использовать малые саперные лопатки и топор.

Надо было спешить – сержант короткими перебежками, скрытно повел свое отделение в указанном направлении. Они попали под сильный артиллерийско-минометный огонь и стремительным броском вышли

вслед из-под обстрела. Поползли. Немцы заметили, открыли по бойцам пулеметно-автоматный огонь. Бойцы залегли за бугорком. Н Таран, вплотную прижимаясь к земле, пополз дальше, достиг проволочных заграждений. Он в ярости начал рубить натянутую в три кола проволоку, рубил топором. Пули снесли с головы пилотку, рядом разрывались мины, обдавая лицо комьями грязи и земли, но сержант продолжал рубить. Концы оборванной, обрубленной проволоки, отскакивая, с силой царапали ему лицо, руки, вырвали глаз, он продолжал рубить, не чуя боли, он знал, что надо поскорее, к сроку сделать проход, от этого зависит наступление. К сержанту подползли на коленях некоторые бойцы. Прорубили первый ряд проволоки, но дело затягивалось: топоры и лопаты были бессильны. Тогда Таран утер окровавленное, потное лицо, – вот-вот немцы накроют артиллерийским огнем. Медлить нельзя! Таран, прославленный силач и великан полка, в ярости расшатал кольца, на которых была натянута проволока, расправил свои могучие плечи, и встал во весь рост, и поднял над головой два пролета проволочной сети, приподнял над землей почти на полтора метра. Проход есть!.. С приподнятыми над головой кольями и колючей проволокой сержант стоял так под огнем до тех пор, пока мимо него не проскочил последний боец роты. Он стоял, качаясь, пули пробили ему руку в двух местах, плечо, наконец, грудь. Струйки крови текли по его гимнастерке, текли ручейки по груди, но сержант стоял, бледный, с закрытыми глазами, и, когда все прошли, замертво рухнул на месте.

(Это был силач, приподымавший машину за кузов. В дождь его звали на помощь застрявшие обозники.)

В донесении политотдела дивизии о героическом подвиге сержанта Тарана, между прочим, сказано: «Очень желательно, чтобы наши художники нарисовали большую картину, на которой изобразили бы могучую фигуру Петра Тарана, спокойно державшего на виду у немцев колья со стальной проволокой. Эту картину следовало бы выставить в Доме Красной Армии в Москве».

«ИЗ ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА»

(отрывок)

«Мы обратили внимание на множество книг, которые были рассыпаны по дороге. Это было на подъеме у выхода из города. Липкая осенняя грязь была здесь особенно глубока. Заинтересовавшись, мы слезли с мотоцикла. Это была чаша редчайшая библиотека по кавказоведению, которой немцы, покидая город, гатили дорогу, чтобы не буксовали машины.

* * *

«В Пятигорском гестапо была машина, которую называли «пекарней». В неё сажали приговоренных к смерти и, закрыв герметически, отвозили к месту, где ждали их ямы. Люди задыхались отработанным газом, и на месте выгружали трупы.

* * *

«Боец-разведчик Шейхов, лезгин, пишет письмо своей жене, мучительно думая, уединяясь. Оказывается, он все выдумывает ласковые слова, ласковые прозвища своей жене, ибо это единственное, что он еще может послать в подарок ей отсюда, с этих суровых пустынных кладбищ - ласка. «Душа моя, свет мой, слеза моя».

* * *

«Похороны жертв гестапо в Пятигорске. Страшный холод, мороз, туман. И вот из-за поворота снизу медленно начинают подниматься вверх гробы на плечах людей - гробы, гробы десятками. Гробы начинают стекаться по всем улицам, со всех сторон сюда, на площадь. Величавое, плавное движение этих гробов на плечах черною людского

потока. Вот они все выше и выше восходят па площадь... На руках несут детские гробики - один, другой, пятый... Да что это? Ужели им нет конца? - Милый мой деточка, Ваня! - плачет старуха, наклоняясь и идя за гробом. - За что ж ты погиб?! Ой, люди!

* * *

«Подобно тому, как в древнем Риме был обычен в разгар пира вносить мумию, чтоб люди помнили о смерти, надо после этой войны завещать человечеству приносить в разгар пира портрет Гитлера, чтоб люди задумались и не забываясь, помнили бы и учили опыт нашего поколения...

* * *

«Она была ранена в ногу, но, однако, продолжала перевязывать раненого, укрываясь в воронке. Осколком снова ранило ее в обе ноги. Тогда она, упав, подняла окровавленный бинт и стала кричать: - Кто ранен, подползайте ко мне! Я сама двигаться не могу!

* * *

«Артиллерист из станицы Абинской обстреливает свою станицу. А там его мать. - Хай ховается. Я не ее, а немцев бью!..

* * *

«После ураганного огня тишина и в тишине шепот:
- Вылезай, гады!
Немцы, онемев от страха, подняли руки!

* * *

«...И писатель подобен птице. Птице легче лететь, когда ветер дует ей в грудь».

ШОЛОХОВ М.А.

Родился 24 мая 1905 г. на хуторе Кружилин станицы Вёшенской области Войска Донского (ныне Вёшенский район Ростовской области) в крестьянской семье.

Участвовал в Гражданской войне, служил в продотряде. В конце 1922 г. приехал в Москву. В 1923 г. в журналах и газетах стали появляться рассказы Шолохова, объединённые впоследствии в сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (оба 1926 г.). Главная тема этих произведений — гражданская война на Дону.

В 1925 г. Шолохов начал писать роман, принёсший ему мировую известность, — «Тихий Дон». В 1941 г. за это произведение он получил Сталинскую премию. Автору удалось создать масштабную картину битвы двух миров, ломки сложившихся отношений и становления новых.

С 1932 по 1960 г. Шолохов создаёт «Поднятую целину» — эпическое повествование о коренном переломе в жизни деревни, совершённом коллективизацией. Роман принёс автору Ленинскую премию (1960 г.). Во время Великой Отечественной войны в периодической печати и отдельными изданиями выходят очерки Шолохова «На Дону», «На юге», «Казачи». Широкую известность получил рассказ «Наука ненависти» (1942 г.). В 1943-1944 гг. были напечатаны главы из неоконченного романа «Они сражались за Родину» о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Заметным явлением стал рассказ «Судьба человека» (1956-1957 гг.). В 1965 г. Шолохов был удостоен Нобелевской премии.

Умер 21 февраля 1984 г. на родине, в станице Вёшенской.

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»

(отрывок)

Ох, браток, нелегкое это дело понять, что ты не по своей воле в плену. Кто этого на своей шкуре не испытал, тому не сразу в душу въедешь, чтобы до него по-человечески дошло, что означает эта штука.

Ну, вот, стало быть, лежу я и слышу: танки гремят. Четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал... Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла, не густо, так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза и опять прижмусь щекой к земле, глаза закрою: тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно...

Думал, все прошли, приподнял голову, а их шесть автоматчиков — вот они, шагают метрах в стах от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчаком. «Вот, — думаю, — и смерть моя на подходе». Я сел, неохота лежать помириться, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. И вот как потешно человек устроен: никакой паники, ни сердечной робости в эту минуту у меня не было. Только гляжу на него и думаю: «Сейчас даст он по мне короткую очередь, а куда будет бить? В голову или поперек груди?» Как будто мне это не один черт, какое место он в моем теле прострочит.

Молодой парень, собою ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку, и глаза с прищуром. «Этот убьет и не задумается», — соображаю про себя. Так оно и есть:

вскинул он автомат — я ему прямо в глаза гляжу, молчу, — а другой, ефрейтор что ли, постарше его возрастом, можно сказать, пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул, значит, щупает. Попробовал и говорит: «О-о-о!» — и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотинка, трудиться на наш райх. Хозяином оказался, сукин сын!

Но чернявый присмотрелся на мои сапоги, а они у меня с виду были добрые, показывает рукой: «Сымай». Сел я на землю, снял сапоги, подаю ему. Он их из рук у меня прямо-таки выхватил. Размотал я портянки, протягиваю ему, а сам гляжу на него снизу вверх. Но он заорал, заругался по-своему и опять за автомат хватается. Остальные ржут. С тем по-мирному и отошли. Только этот чернявый, пока дошел до дороги, раза три оглянулся на меня, глазами сверкает, как волчонок, злится, а чего? Будто я с него сапоги снял, а не он с меня.

Что ж, браток, деваться мне было некуда. Вышел я на дорогу, выругался страшным кучерявым, воронежским матом и зашагал на запад, в плен!.. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге, как пьяного. Прошел немного, и догоняет меня колонна наших пленных, из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мною и, не говоря худого слова, наотмашь хлыстнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, — и он пришил бы меня к земле очередью, но

наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет: «Боже тебя упаси падать! Иди из последних сил, а не то убьют». И я из последних сил, но пошел.

Как только солнце село, немцы усилили конвой, на грузовой подкинули еще человек двадцать автоматчиков, погнали нас ускоренным маршем. Сильно раненные наши не могли поспевать за остальными, и их пристреливали прямо на дороге. Двое попытались бежать, а того не учли, что в лунную ночь тебя в чистом поле черт-те насколько видно, ну, конечно, и этих постреляли. В полночь пришли мы в какое-то полусожженное село. Ночевать загнали нас в церковь с разбитым куполом. На каменном полу — ни клочка соломы, а все мы без шинелей, в одних гимнастерках и штанах, так что постелить и разу нечего. Кое на ком даже и гимнастерок не было, одни бязевые исподние рубашки. В большинстве это были младшие командиры. Гимнастерки они посымали, чтобы их от рядовых нельзя было отличить. И еще артиллерийская прислуга была без гимнастерок. Как работали возле орудий растелешенные, так и в плен попали.

3 Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. Тут купол снесло тяжелым снарядом или бомбой с самолета, а тут крыша вся начисто побитая осколками, сухого места даже в алтаре не найдешь. Так всю ночь и прослонялись мы в этой церкви, как овцы в темном катухе. Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» Отвечаю ему: «А тебе что надо, браток?» Он и говорит: «Я —

военврач, может быть, могу тебе чем-нибудь помочь?» Я пожаловался ему, что у меня левое плечо скрипит и пухнет и ужасно как болит. Он твердо так говорит: «Сымай гимнастерку и нижнюю рубашку». Я снял все это с себя, он и начал руку в плече прощупывать своими тонкими пальцами, да так, что я света не взвидел. Скриплю зубами и говорю ему: «Ты, видно, ветеринар, а не людской доктор. Что же ты по больному месту давишь так, бессердечный ты человек?» А он все щупает и злобно так отвечает: «Твое дело помалкивать! Тоже мне, разговорчики затеял. Держись, сейчас еще больнее будет». Да с тем как дернет мою руку, аж красные искры у меня из глаз посыпались.

Опомнился я и спрашиваю: «Ты что же делаешь, фашист несчастный? У меня рука вдребезги разбитая, а ты ее так рванул». Слышу, он засмеялся потихоньку и говорит: «Думал, что ты меня ударишь с правой, но ты, оказывается, смирный парень. А рука у тебя не разбита, а выбита была, вот я ее на место и поставил. Ну, как теперь, полегче тебе?» И в самом деле, чувствую по себе, что боль куда-то уходит. Поблагодарил я его душевно, и он дальше пошел в темноте, потихоньку спрашивает: «Раненые есть?» Вот что значит настоящий доктор! Он и в плену и в потемках свое великое дело делал.

Беспокойная это была ночь. До ветру не пускали, об этом старший конвоя предупредил, еще когда попарно загоняли нас в церковь. И, как на грех, приспичило одному богомольному из наших выйти по нужде. Крепился-крепился он, а потом заплакал. «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм! Я же верующий, я

христианин! Что мне делать, братцы?» А наши, знаешь, какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну, и допросился: дал фашист через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, а одного тяжело ранил, к утру он скончался.

Убитых сложили мы в одно место, присели все, притихли и призадумались: начало-то не очень веселое... А немного погодя заговорили вполголоса, зашептались: кто откуда, какой области, как в плен попал; в темноте товарищи из одного взвода или знакомцы из одной роты порастерялись, начали один одного потихоньку окликать. И слышу я рядом с собой такой тихий разговор. Один говорит: «Если завтра, перед тем как гнать нас дальше, нас выстроят и будут выкликать комиссаров, коммунистов и евреев, то ты, взводный, не прячься! Из этого дела у тебя ничего не выйдет. Ты думаешь, если гимнастерку снял, так за рядового сойдешь? Не выйдет! Я за тебя отвечать не намерен. Я первый укажу на тебя! Я же знаю, что ты — коммунист и меня агитировал вступать в партию, вот и отвечай за свои дела». Это говорит ближний ко мне, какой рядом со мной сидит, слева, а с другой стороны от него чей-то молодой голос отвечает: «Я всегда подозревал, что ты, Крыжнев, нехороший человек. Особенно, когда ты отказался вступать в партию, ссылаясь на свою неграмотность. Но никогда я не думал, что ты сможешь стать предателем. Ведь ты же окончил семилетку?» Тот лениво так

отвечает своему взводному: «Ну, окончил, и что из этого?» Долго они молчали, потом, по голосу, взводный тихо так говорит: «Не выдавай меня, товарищ Крыжнев». А тот засмеялся тихонько. «Товарищи, — говорит, — остались за линией фронта, а я тебе не товарищ, и ты меня не проси, все равно укажу на тебя. Своя рубашка к телу ближе».

Замолчали они, а меня озноб колотит от такой подлючности. «Нет, — думаю, — не дам я тебе, сучьему сыну, выдать своего командира! Ты у меня из этой церкви не выйдешь, а вытянут тебя, как падлу, за ноги!» Чуть-чуть рассвело — вижу: рядом со мной лежит на спине мордатый парень, руки за голову закинул, а около него сидит в одной исподней рубашке, колени обнял, худенький такой, курносенький парнишка, и очень собою бледный. «Ну, — думаю, — не справится этот парнишка с таким толстым меринном. Придется мне его кончать».

Тронул я его рукою, спрашиваю шепотом: «Ты — взводный?» Он ничего не ответил, только головою кивнул. «Этот хочет тебя выдать?» — показываю я на лежачего парня. Он обратно головою кивнул. «Ну, — говорю, — держи ему ноги, чтобы не брыкался! Да поживей!» — а сам упал на этого парня, и замерли мои пальцы у него на глотке. Он и крикнуть не успел. Подержал его под собой минут несколько, приподнялся. Готов предатель, и язык на боку!

До того мне стало нехорошо после этого, и страшно захотелось руки помыть, будто я не человека, а какого-то гада ползучего душил... Первый раз в жизни убил, и то своего... Да какой же он свой? Он же хуже чужого,

предатель. Встал и говорю взводному: «Пойдем отсюда, товарищ, церковь велика».

Как и говорил этот Крыжнев, утром всех нас выстроили возле церкви, оцепили автоматчиками и трое эсэсовских офицеров начали отбирать вредных им людей. Спросили, кто коммунисты, командиры, комиссары, но таковых не оказалось. Не оказалось и сволочи, какая могла бы выдать, потому что и коммунистов среди нас было чуть не половина, и командиры были, и, само собою, и комиссары были. Только четырех и взяли из двухсот с лишним человек. Одного еврея и трех русских рядовых. Русские попали в беду потому, что все трое были чернявые и с кучерявинкой в волосах. Вот подходят к такому, спрашивают: «Юде?» Он говорит, что русский, но его и слушать не хотят. «Выходи» — и все.

Расстреляли этих бедолаг, а нас погнали дальше. Взводный, с каким мы предателя придушили, до самой Познани возле меня держался и в первый день нет-нет, да и пожмет мне на ходу руку. В Познани нас разлучили по одной такой причине.

Видишь, какое дело, браток, еще с первого дня задумал я уходить к своим. Но уходить хотел наверняка. До самой Познани, где разместили нас в настоящем лагере, ни разу не предоставился мне подходящий случай. А в Познанском лагере вроде такой случай нашелся: в конце мая послали нас в лесок возле лагеря рыть могилы для наших же умерших военнопленных, много тогда нашего брата мерло от дизентерии; рою я познанскую глину, а сам посматриваю кругом и вот

приметил, что двое наших охранников сели закусывать, а третий придремал на солнышке. Бросил я лопату и тихо пошел за куст... А потом — бегом, держу прямо на восход солнца...

Видать, не скоро они спохватились, мои охранники. А вот откуда у меня, у такого тощалого, силы взялись, чтобы пройти за сутки почти сорок километров, — сам не знаю. Только ничего у меня не вышло из моего мечтания: на четвертые сутки, когда я был уже далеко от проклятого лагеря, поймали меня. Собаки сыскные шли по моему следу, они меня и нашли в некошеном овсе.

На заре побоялся я идти чистым полем, а до леса было не меньше трех километров, я и залег в овсе на дневку. Намял в ладонях зерен, пожевал немного и в карманы насыпал про запас и вот слышу собачий брех, и мотоцикл трещит... Оборвалось у меня сердце, потому что собаки все ближе голоса подают. Лег я плашмя и закрылся руками, чтобы они мне хоть лицо не обгрызли. Ну, добежали и в одну минуту спустили с меня все мое рваньё. Остался в чем мать родила. Катали они меня по овсу, как хотели, и под конец один кобель стал мне на грудь передними лапами и целится в глотку, но пока еще не трогает.

На двух мотоциклах подъехали немцы. Сначала сами били в полную волю, а потом натравили на меня собак, и с меня только кожа с мясом полетели клочьями. Голого, всего в крови и привезли в лагерь. Месяц отсидел в карцере за побег, но все-таки живой... живой я остался!..

Тяжело мне, браток, вспоминать, а еще тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли замученные там, в лагерях, — сердце уже не в груди, а в глотке бьется, и трудно становится дышать...

Так вот этот самый комендант на другой день после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. Вечером приходят в барак переводчик и с ним два охранника. «Кто Соколов Андрей?» Я отозвался. «Марш за нами, тебя сам герр лагерфюрер требует». Понятно, зачем требует. На распыл. Попрощался я с товарищами, все они знали, что на смерть иду, вздохнул и пошел. Иду по лагерному двору, на звезды поглядываю, прощаюсь и с ними, думаю: «Вот и отмучился ты, Андрей Соколов, а по-лагерному — номер триста тридцать первый». Что-то жалко стало Иринку и детишек, а потом жаль эта утихла и стал я собираться с духом, чтобы глянуть в дырку пистолета бесстрашно, как и подобает солдату, чтобы враги не увидали в последнюю мою минуту, что мне с жизнью расставаться все-таки трудно...

В комендантской — цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом — все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутылка со шнапсом, хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву, и — не поверишь — так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк, отвык от

человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою... Кое-как задалвил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу.

Прямо передо мною сидит полупьяный Мюллер, пистолетом играет, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Ну, я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю: «Военнопленный Андрей Соколов по вашему приказанию, герр комендант, явился». Он и спрашивает меня: «Так что же, русс Иван, четыре кубометра выработки — это много?» — «Так точно, — говорю, — герр комендант, много». — «А одного тебе на могилу хватит?» — «Так точно, герр комендант, вполне хватит и даже останется».

Он встал и говорит: «Я окажу тебе великую честь, сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно, пойдем во двор, там ты и распишешься». — «Воля ваша», — говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса, кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит: «Перед смертью выпей, русс Иван, за победу немецкого оружия».

Я было из его рук и стакан взял и закуску, но как только услышал эти слова, — меня будто огнем обожгло! Думаю про себя: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?! А кое-чего ты не хочешь, герр комендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой!»

Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю: «Благодарствую за угощение, но я непьющий».

Он улыбается: «Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель». А что мне было терять? «За свою погибель и избавление от мук я выпью», — говорю ему. С тем взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул, вежливенько вытер губы ладонью и говорю: «Благодарствую за угощение. Я готов, герр комендант, пойдёмте, распишете меня».

Но он смотрит внимательно так и говорит: «Ты хоть закуси перед смертью». Я ему на это отвечаю: «Я после первого стакана не закусываю». Наливает он второй, подаёт мне. Выпил я и второй и опять же закуску не трогаю, на отвагу бью, думаю: «Хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться». Высоко поднял комендант свои белые брови, спрашивает: «Что же не закусываешь, русс Иван? Не стесняйся!» А я ему свое: «Извините, герр комендант, я и после второго стакана не привык закусывать». Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки: видно, переводит мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже, замечаю, как-то иначе на меня поглядывают, вроде помягче.

Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил вразяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни старались.

После этого комендант стал серьезный с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружный и говорит: «Вот что, Соколов, ты — настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я — тоже солдат, и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость», — и подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала.

Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал, сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю: «Засветит он мне сейчас промеж лопаток, и не донесу ребятам этих харчей». Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло...

Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Ввалился в барак и упал на цементовый пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках: «Рассказывай!» Ну, я припомнил, что было в комендантской, рассказал им. «Как будем харчи делить?» — спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. «Всем поровну», — говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку, каждую крошку брали на учет, ну, а сала, сам понимаешь, — только губы помазать. Однако поделили без обиды.

Вскороги перебросили нас, человек триста самых крепких, на осушку болот, потом — в Рурскую область на шахты. Там и пробыл я до сорок четвертого года. К этому времени наши уже своротили Германии скулу набок и фашисты перестали пленными брезговать. Как-то выстроили нас, всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика: «Кто служил в армии или до войны работал шофером, — шаг вперед». Шагнуло нас семь человек бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Приехали туда, и растрясали нас всех врозь. Меня определили работать в «Тодте» — была у немцев такая шарашкина контора по строительству дорог и оборонительных сооружений.

Возил я на «оппель-адмирале» немца-инженера в чине майора армии. Ох, и толстый же был фашист! Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковый и в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят и позади на шее три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет — только держись! Целый день, бывало, жует да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепало: в дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает; когда в добром духе, — и мне кусок кинет, как собаке. В руки никогда не давал, нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить, и понемногу стал я запохаживаться на человека, помалу, но стал поправляться.

Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился: ночи напролет думал, как бы мне к своим, на родину сбежать.

Приехали мы в город Полоцк. На заре услышал я в первый раз за два года, как громыкает наша артиллерия, и, знаешь, браток, как сердце забилося? Холостой еще ходил к Ирине на свиданья, и то оно так не стучало! Бои шли восточнее Полоцка уже километрах в восемнадцати. Немцы в городе злые стали, нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепления строить, а ночью в одиночку пьет. Опух весь, под глазами мешки повисли...

«Ну, — думаю, — ждоть больше нечего, пришел мой час! И надо не одному мне бежать, а прихватить с собою и моего толстяка, он нашим сгодится!»

Нашел в развалинах двухкилограммовую гирьку, обмотал ее обтирочным тряпьем, на случай, если придется ударить, чтобы крови не было, кусок телефонного провода поднял на дороге, все, что мне надо, усердно приготовил, схоронил под переднее сиденье. За два дня перед тем как распрощался с немцами, вечером еду с заправки, вижу, идет пьяный, как грязь, немецкий унтер, за стенку руками держится. Остановил я машину, завел его в развалины и вытряхнул из мундира, пилотку с головы снял. Все это имущество тоже под сиденье сунул и был таков.

Утром двадцать девятого июня приказывает мой майор везти его за город, в направлении Тросницы. Там он руководил постройкой укреплений. Выехали. Майор на заднем сиденье спокойно дремлет, а у меня сердце из груди чуть не выскакивает. Ехал я быстро, но за городом сбавил газ, потом остановил машину, вылез, огляделся: далеко сзади две грузовых тянутся. Достал я гирьку, открыл дверцу пошире. Толстяк откинулся на спинку сиденья, похрапывает, будто у жены под боком. Ну, я его и тюкнул гирькой в левый висок. Он и голову уронил. Для верности я его еще раз стукнул, но убивать досмерти не захотел. Мне его живого надо было доставить, он нашим должен был много кое-чего порассказать. Вынул я у него из кобуры «парабеллум», сунул себе в карман, монтировку вбил за спинку заднего сиденья, телефонный провод накинул на шею майору и завязал глухим узлом на монтировке. Это чтобы он не свалился на бок, не упал при быстрой езде. Скоренько напялил на себя немецкий мундир и пилотку, ну, и погнал машину напрямиком туда, где земля гудит, где бой идет.

Немецкий передний край проскакивал между двух дзотов. Из блиндажа автоматчики выскочили, и я нарочно сбавил ход, чтобы они видели, что майор едет. Но они крик подняли, руками махают, мол, туда ехать нельзя, а я будто не понимаю, подкинул газку и пошел на все восемьдесят. Пока они опомнились и начали бить из пулеметов по машине, а я уже на ничьей земле между воронками петляю не хуже зайца.

Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах

ветровое стекло пробили, радиатор попортили пулями... Но вот уже лесок над озером, наши бегут к машине, а я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее, и дышать мне нечем...

Молодой парнишка, на гимнастерке у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал, первым подбегает ко мне, зубы скалит: «Ага, чертов фриц, заблудился?» Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул и говорю ему: «Милый ты мой губошлеп! Сынок дорогой! Какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец? В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого борова, какой в машине сидит, возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру». Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки, а к вечеру очутился уже у полковника — командира дивизии. К этому времени меня и накормили, и в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали, так что явился я в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистый и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит: «Спасибо тебе, солдат, за дорогой гостинец, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати „языков“. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде». А я от этих слов его, от ласки, сильно волнуюсь, губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдать: «Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть».

Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу: «Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься?»

Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Подлечат тебя там, подкормят, после этого домой к семье на месяц в отпуск съездишь, а когда вернешься к нам, — посмотрим, куда тебя определить».

И полковник и все офицеры, какие у него в блиндаже были, душевно попрощались со мной за руку, и я вышел окончательно разволнованный, потому что за два года отвык от человеческого обращения. И заметь, браток, что еще долго я, как только с начальством приходилось говорить, по привычке невольно голову в плечи втягивал, вроде боялся, что ли, как бы меня не ударили. Вот как образовали нас в фашистских лагерях...

Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И, скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить...

Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто, иначе, если бы давали еды вволю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался силенок вполне. А через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут... На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать!.. Сообщает он, что еще в июне сорок второго года немцы бомбили авиазавод и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатенку. Ирина и дочери как раз были дома... Ну,

пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хатенки — глубокая яма... Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все.

Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказало ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я ее тогда оттолкнул... Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг, остался я один. Думаю: «Да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь?» А ведь в плену я почти каждую ночь, про себя, конечно, и с Ириной и с детишками разговаривал, подбадривал их, дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне, я — крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе... Значит, я два года с мертвыми разговаривал?!

Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом:

— Давай, браток, перекурим, а то меня что-то удушье давит.

Мы закурили. В залитом водой лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер; все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве

облака, но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни.

Молчать было тяжело, и я спросил:

— Что же дальше?

— Дальше-то? — нехотя отозвался рассказчик. — Дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой, кругом бурьян по пояс... Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию.

Но месяца через три и мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи: нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище; там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей «сорокапяток», имеет шесть орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно! Как ни крути, а мой родной сын — капитан и командир батареи, это не шутка! Да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на «студебеккере» снаряды возит и прочее военное

имущество. Отцово дело отжитое, а у него, у капитана, все впереди.

И начались у меня по ночам стариковские мечтания: как война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну, и свиделись... Акурат девятого мая, утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер...

Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», — а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почувал я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец! Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной!»

Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам, туманно помню

солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу вот как тебя, браток. Подошел я к гробу. Мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка, с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина, глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки, Тольки, какого я когда-то знал... Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал. Товарищи-друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?..

Похоронил я в чужой, немецкой земле последнюю свою радость и надежду, ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь, и словно что-то во мне оборвалось... Приехал я в свою часть сам не свой. Но тут вскорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? Ни за что! Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению, — он когда-то приглашал меня к себе, — вспомнил и поехал в Урюпинск.

Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком, вот с этим, какой в песке играетя.

Из рейса, бывало, вернешься в город — понятно, первым делом в чайную: перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует... И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день — опять вижу. Этаким маленький оборвыш: личико все в арбузном соку, покрытом пылью, грязный, как прах, нечесаный, а глазенки — как звездочки ночью после дождя! И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, — кто что даст.

На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и, по всему виду, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему: «Эй, Ванюшка! Садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит: «А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю.

Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю: «Где же твой отец, Ваня?» Шепчет: «Погиб на фронте». — «А

мама?» — «Маму бомбой убило в поезде, когда мы ехали». — «А откуда вы ехали?» — «Не знаю, не помню...» — «И никого у тебя тут родных нету?» — «Никого». — «Где же ты ночуешь?» — «А где придется».

Закипела тут во мне горячая слеза, и сразу я решил: «Не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать! Возьму его к себе в дети». И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю: «Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул: «Кто?» Я ему и говорю так же тихо. «Я — твой отец».

Боже мой, что тут произошло! Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно: «Папка родненький! Я знал! Я знал, что ты меня найдешь! Все равно найдешь! Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся... Как я тогда руля не упустил, диву можно дать! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, — побоялся ехать: как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жметя ко мне изо всех силенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было.

Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою

шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в акурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю: «Вот и нашел я своего Ванюшку! Принимайте нас, добрые люди!» Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело, засуетились, забегали. А я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол. Хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидел, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той — подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся!

После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать, поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку — и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. «Ты, — говорит, — с ума спятил, в такую жару одевать дитя в суконные штаны!» И моментально — швейную машинку на стол, порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в

первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснулся, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь! Норовишь не ворохнуть, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любишься на него...

Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало? А это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножонкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя...

Первое время он со мной на машине в рейсы ездил, потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью, вот и сыт солдат на целый день. А с ним — дело другое: то молока ему надо добывать, то яичко сварить, опять же без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки, так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там.

Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он — то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка,

ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто! Пришлось изворачиваться: «В Воронеже осталось», — говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» Отвечаю ему: «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». — «А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома?» Так и болтаем с ним перед сном.

А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зарница: вспыхнет, накоротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зарницы, проблесками работает.

Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех: ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я и сбил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я ни просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам, а я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем, — он в вашей области, в Кашарском районе, работает шофером, — и тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командирujemyся в Кашары походным порядком.

Да оно, как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определять его в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте. А сейчас пока шагаем с ним по русской земле.

— Тяжело ему идти, — сказал я.

— Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться, — слезает с меня и бегаёт сбоку дороги, взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы, да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять... Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда: почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я — за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону... Разговариваю обо всем и с Ириной и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть, — они уходят от меня, будто тают на глазах... И вот удивительное дело: днем я всегда крепко себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез...

В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде.

Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку:

— Прощай, браток, счастливо тебе!

— И тебе счастливо добраться до Кашар.

— Благодарствую. Эй, сынок, пойдем к лодке.

Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной.

Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек нестигаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его родина.

С тяжелой грустью смотрел я им вслед... Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставанье, но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой. И вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, поседевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь во-время отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза...

АВШАЛУМОВ Х.Д.

Родился 16 января 1913 года (по другим сведениям — в 1916 году) в селе Ньюджи (пригород города Дербента, Дагестан) в семье крестьянина. Работал корреспондентом областной горско-еврейской газете «Захметкеш» («Труженник»). Позже учился в совпартиколле.

С 1938 по 1941 годы — научный сотрудник Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР. За этот период им собрано значительное количество произведений горских евреев фольклора разных жанров (фольклора горских евреев), которые вошли в подготовленный им первый сборник горско-еврейского фольклора (1940), с обстоятельным предисловием к нему, а также — русско-(горско-еврейский) терминологический словарь (1940).

Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-кавказском и Белорусском фронтах, был заместителем командира кавалерийского сабельного эскадрона казачьего полка, дважды ранен, контужен. День Победы встретил в Берлине. Демобилизовавшись, работал корреспондентом республиканской газеты «Дагестанская правда», позже консультантом и секретарём правления Союза писателей Дагестана.

В большинстве своих рассказов и новелл (о Шими Дербенди) Х. Авшалумов выступает как сатирик и юморист. Шими Дербенди — фигура общедагестанская, вместе с тем воплощает образ типичного

представителя татского народа. На протяжении многих лет новеллы о хитроумном Шими Дербенди печатались на страницах республиканских газет, вызывая неизменный интерес у читателя.

В повестях «Возмездие», «Фамильная арка», «Сказание о любви» писатель отразил обычаи, традиции и быт своего народа на фоне драматических событий дореволюционного и советского периода.

Выпустил нескольких поэтических сборников, в том числе для детей. В сборник «Гюльбоор» вошли стихи и одноименная поэма о судьбе женщины — горской еврейки, Герое Социалистического Труда Гюльбоор Давыдовой, а также полноактные пьесы, в том числе первая татская музыкальная комедия «Кишди хьомоли» («Кушак бездетности») и историческая драма «Толмач имама Шамиля» (последняя ставилась на сценах государственных кумыкского (1966 (и лезгинского (1987) театров, а также пьесы «Шими Дербенди» и «Любовь в опасности».

Из сборника «НЕВЕСТА С СЮРПРИЗОМ»

Однажды звездной майской ночью, богатой событиями 1921 года, молодой партизан Шариф Шарипов возвращался в родной аул.

Больше года Шариф не был дома. Узкая каменистая дорога то круто рвалась вверх, то резко, будто в бездну, падала вниз. Старая берданка билась за плечом Шарифа,

он шагал и думал о том, как встретят его мать, односельчане.

Шариф возвращался в аул, как и уходил из него год тому назад, без единого гроша в кармане, в изношенном рваном чохо и истоптанных чарыках. Но на душе у молодого человека сейчас было весело и радостно.

Время от времени Шариф заботливо поправлял выдавшую виды облезшую папаху, осторожно, почти нежно касался пальцем гладкой красной ленты, на которой была прикреплена маленькая пятиконечная звезда. Предложи ему сейчас самую дорогую папаху вместо его ободранного порзе, он ни за что бы не согласился. Не променял бы он ее даже на знакомую ему серебристо-серую каракулевую папаху с блестящим зеленым бархатным верхом, гордо красовавшуюся на голове его односельчанина богача Асланбека.

Пусть у него, у Шарифа, папаха из простой овчины, старая, облезшая, отдает горьковато-острыми запахами прокисшего сыра, чеснока и пота, но зато она украшена красной лентой – почетным знаком его принадлежности к победившей революции. А горец, как известно, носит папаху прежде всего не для того, чтобы она предохраняла голову от жары или стужи, а как символ мужской чести и достоинства.

Но он, Шариф, не забыл, как однажды взбесившийся богач Асланбек топтал ногами вот эту самую папаху...

Это было три года тому назад. Восемнадцатилетний батрак Шариф, усталый, загорелый, в темной от пота грубой бязевой рубашке, возвращался на закате домой.

Весь день, не разгибая спины, под палящим августовским солнцем убирал он хлеб на полях Асланбека. Шариф знал, что дома у старухи-матери, у которой он был единственным кормильцем, не было в тот день и горсточки муки, чтобы к вечеру она могла испечь горячую лепешку, которую мать обычно подавала ему на ужин вместе с прохладным айроном из козьего молока. Поэтому, возвращаясь с поля, он захватил с собой пшеничный сноп, чтобы вручную вымолотить его дома.

Наверно, про таких, как он, Шариф, говорилось в пословице: «День бедняка начинается горем и кончается стоном». Когда он по кривой и тесной улочке родного аула, зажатой с обеих сторон серыми, плоскокрыхими саклями, пробирался домой, неожиданно на повороте встретился ему хозяин. Тот, как почти всегда в последнее время, был пьян и шел, слегка пошатываясь, старательно глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Богач поминутно морщил лицо, еще не старое, но уже немного рыхлое, словно во рту чувствовал какую-то горечь, отчего его черные, лихо закрученные усы беспрестанно вздрагивали.

Шариф вежливо поздоровался с Асланбеком и встал спиной к стенке сакли, почтительно уступая ему дорогу. Услышав приветствие юноши, Асланбек сразу остановился, обернулся к нему. Вялым, небрежным движением он отодвинул назад серебристо-каракулеву папаху с зеленым бархатным верхом, словно она сейчас мешала ему хорошо разглядеть парня. Большие, немного выпуклые серые глаза Асланбека уставились на батрака

тупо и рассеянно. Но, заметив сноп с тугими желтыми колосьями в руке своего батрака, Асланбек побагровел.

– Ты это что, с-собачий с-сын! – положив руки на бедра, с нескрываемой ненавистью и насмешкой процедил он сквозь зубы. – Мое добро вздумал растаскивать, как будто меня уже и в живых нет, или я теперь, – он с силой ударил себя кулаком по груди, – не хозяин своему добру, если такие, как ты, безбожники и бунтовщики свергли царя с престола, а?!.

Ярость душила богача и мешала говорить. В мгновение ока Асланбек сорвал с головы растерявшегося юноши папаху, с силой ударил ее о землю и принялся топтать ногами.

– Ты не мужчина, достойный носить папаху, а вор! – злобно выкрикивал он при этом в каком-то неистовом самозабвении. – Ты не мужчина!..

Воспоминание об этом всегда уязвляло мужскую гордость Шарифа, вызывая в душе бурное, но бессильное негодование. Но сейчас он вместе с острой ненавистью к своему обидчику почувствовал и мстительное злорадство. Вот он теперь покажет этому усатому шайтану, кто из них настоящий мужчина!

Мать писала ему, что богач со своими верными нукерами уходил в банду имама Гоцинского, теперь разбитую Красной Армией и партизанами в пух и прах. Говорят, после этого заносчивый и самоуверенный Асланбек и носа не показывает в ауле, страшится джамаата, прячется где-то. Только иногда тайком, среди ночи, как вор, подкрадывается он к аулу, посещает свой

дом и, не дожидаясь утра, захватив с собой провизию, исчезает опять куда-то, как дух перед рассветом.

Рассуждая так сам с собой, Шариф не заметил, как подошел к аулу. Теперь он уже шагал мимо окрестных садов, стоявших в пышном цветении, источающих густой, пьянящий аромат. Казалось, белые пушистые облака спустились на ночь с вершины высоких гор и окутали деревья.

Он шел бодро, с веселой улыбкой оглядываясь по сторонам.

Выйдя на край аула, Шариф остановился и в волнении окинул его нетерпеливым и радостным взглядом. В саклях было темно, аул погружен в сонное безмолвие. Но молодому партизану показалось несколько странным то, что его родной аул выглядит точно таким же, каким он покинул его год назад, словно в мире не произошло за это время никаких особенных перемен. Даже каменный двухэтажный дом Асланбека, его кровного обидчика и имамовца, по-прежнему кичливо возвышался над неприметными саклями бедняков, как бы подчеркивая этим свое могущество и превосходство над ними. Шариф с ненавистью посмотрел на этот дом, будто на самого его хозяина. Поправив на голове папаху и старенькое ружье за плечом, он решительно направился прямо к дому Асланбека: а вдруг он дома?..

Подойдя к узкой двери под высоким балконом из резного дерева, Шариф тихо, потом все громче принялся стучать. Прошло несколько минут, прежде чем за дверью раздался настороженный женский голос:

– Кто?!..

Шариф узнал по голосу мать Асланбека – Зейнаб.

Он живо представил себе седую и прямую, как шест, старуху, не по годам подвижную, с надменно-насмешливым лицом и хитрыми, выпуклыми, как у сына, серыми глазами.

– Это я! – строго произнес Шариф и, гордо распрямив плечи, поспешно добавил: – Партизан Шариф. Открой!..

– Дома никого нет, – не сразу произнесла старуха.

Юноша знал, что это означает: дома нет никого из мужчин, а женщины в счет не идут. Услышав это, он почувствовал некоторое разочарование, но решив, что его могут обмануть, он, недолго думая, снял с плеча берданку и начал прикладом бить в дверь, несмотря на неистовый лай, поднятый во дворе собаками.

Прошло еще несколько минут, и за дверью раздался лязг засова. Войдя в большую просторную комнату, Шариф окинул ее быстрым подозрительным взглядом. Но дома действительно никого из мужчин не оказалось, были одни женщины: мать Асланбека, две его жены и несколько ближайших родственниц. А в самом дальнем углу, на тяжелом сундуке, покрытом таким же ярким разноцветным ковром, какими были украшены стены и полы комнаты, сидел кто-то вроде невесты. И как положено ей, невесте, она сидела с закрытым лицом, тихо, в неподвижной позе, как изваяние. Большой белый шелковый платок величиной с полпростыни закрывал всю ее фигуру с головы до самых носков.

Одна из девушек стояла по правую руку невесты, а другая – по левую.

Шариф почувствовал себя неловко оттого, что не поверил словам старухи и среди ночи ворвался в чужой дом, где одни женщины. И чтобы скрыть свое смущение, он, нарочито нахмутив брови, раза два молча и строго прошел по комнате, потом, остановившись, снял с головы папаху, повертел в руке, погладил со всех сторон и опять водрузил на место. Женщины, сбившись в кучу, с угрюмым молчанием и плохо скрытым страхом наблюдали за каждым шагом и каждым движением непрошеного гостя.

– Невеста?.. – показывая глазами в угол, сдержанно улыбаясь, тихо, почти миролюбиво спросил он Зейнаб, нарушая первым тягостную тишину.

Та, в отличие от других женщин, держалась непринужденно, стараясь придать своему лицу ласковое, приветливое выражение.

– Да, невеста, – кивнула старуха головой, потом, подойдя ближе к нему, доверительно, с теплыми материнскими нотками в голосе добавила: – Свою служанку выдала замуж за парня из соседнего аула. Скоро должны приехать за невестой.

Услышав это, Шариф недовольно, почти враждебно покосился на старуху: ему стало обидно за невесту, жаль ее. Где это видано, чтобы провожали невесту из дому вот так, без веселья, без радости, без зурны? Небось, если она была бы не служанкой, а родной дочерью этой старой ведьмы Зейнаб, непременно позаботились бы о том, чтобы все было так, как положено на свадьбе. Да еще вдобавок у всех женщин такие лица, как будто дома не невеста, а покойник.

– Разве так провожают невесту из дому? – строго спросил он хозяйку. – Где музыканты?..

Старая Зейнаб, горестно сложив руки на груди, сделала скорбное, плачущее лицо.

– Да чтобы ослепнуть мне, сынок, разве нам сейчас до музыки и веселья!? Плакать нам в пору, а не веселиться, – начала она оправдываться перед Шарифом. – От сына моего никаких вестей, не знаю, жив ли он, не дай аллах, погиб ли...

Шариф резко отвернулся, не желая слушать хныканье старухи о сыне. Он подошел к курносой девушке, стоявшей по правую руку невесты прямо, неподвижно, с непроницаемым и строгим лицом, точно часовой на охране особо важного объекта. Шариф приказал ей сейчас же сбегать за музыкантом. И она из страха и почтительности перед суровым партизаном, не глядя ни на кого, пулей выскочила из дому.

Вскоре она вернулась с музыкантом, худым, немного сутулым пожилым человеком с седыми обвислыми усами и веселыми улыбающимися карими глазами. Без него в ауле не проходило ни одного торжества, ни одной свадьбы. В любое время дня и ночи Сафар (так звали музыканта), захватив свой волшебный инструмент, тотчас же с готовностью являлся на зов.

Старый зурнач и молодой партизан на виду у женщин, не скрывая своей радости от встречи, сердечно обняли друг друга и расцеловались. Затем Сафар скромно отошел к стене, вынул из кармана зурну, и тотчас же комната наполнилась пронзительно-веселыми звуками. Первой захлопала в ладоши старая Зейнаб и ее

примеру тут же последовали остальные женщины. Шариф, откинув голову назад и взметнув руки в стороны, словно крыльями, с гордой счастливой улыбкой на лице пошел танцевать. Подойдя к невесте, он встал на цыпочки, вытянувшись в струнку, кивком головы почтительно пригласил ее танцевать. Но невеста продолжала сидеть молча, неподвижно. Тогда Шариф весело и озорно топнул ногой перед ней, как бы напоминая ей о своем твердом желании станцевать с ней. Наконец невеста встала и, подняв руки, грузно поплыла перед ним. Только сейчас молодой человек с удивлением заметил, что у невесты подозрительно большой живот, до того большой, что заметно выпирает даже из-под шелкового покрывала и при каждом резком движении странно вздрагивает и ходит из стороны в сторону. Шариф с брезгливым ужасом подумал, что невеста, очевидно, в положении... Видимо, старая Зейнаб и ее родственники из-за этого только решили без шума, втихую, без посторонних свидетелей сплавить ее, отправить к жениху, по всей вероятности, виновнику ее положения. Теперь он понял и причину нерешительности и колебания невесты, когда он приглашал ее танцевать. И невольно подумал, что как должно быть ей сейчас неловко и стыдно перед ним, Шарифом. Да и сам он чувствовал себя весьма неприятно и с нетерпением ждал, когда невеста первой выйдет из круга, чтобы поскорее уйти отсюда. И Шариф в душе начал укорять себя за то, что затеял все это, заглянул в этот ненавистный ему дом.

Вдруг что-то большое и круглое с глухим ударом упало на пол из-под платья невесты и колесом

покатилось к ногам ошеломленного молодого человека. Как ни странно, это был сыр, обыкновенный овечий сыр. Не успел Шариф прийти в себя, как на пол градусом посыпались солидный кусок желтого сушеного курдюка, два чурека, несколько головок чеснока, какая-то бутылка, не то с вином, не то с уксусом... На глазах пораженного юноши произошло чудо: живот у невесты опал, как кузнечный мех, из которого разом выкачали воздух. Не менее удивленный и сбитый с толку этим музыкант Сафар так и застыл с умолкшей зурной во рту, а перепуганные женщины прекратили хлопать в ладоши.

Шариф с внезапно изменившимся лицом и горящими глазами одним прыжком подскочил к невесте и резким движением сорвал шелковое покрывало, скрывавшее ее лицо. И «невестой» оказался плотный бритоголовый мужчина. Лицо его было еще не старое, но уже рыхлое, с закрученными, вздрагивающими черными усами, а серые, слегка выпуклые глаза смотрели на молодого партизана растерянно и с ненавистью. Шариф, который был готов разорвать своего обидчика и врага на куски, увидев его сейчас в таком жалком и смешном положении, без папахи, в просторном женском платье, вспомнив, как он только что корчил из себя скромную «невесту», невольно засмеялся, сперва тихо, почти сдавленно, а потом громко, раскатисто. Старухе Зейнаб при виде этого невыносимого и ужасного для нее зрелища стало дурно, и она с глухим стоном упала без чувств на руки своих растерявшихся и перепугавшихся невесток.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ.....	3
ЧИТАЕМ С ЛИСТА ПРОЗУ О ВОЙНЕ.....	8
БЫКОВ В.В.	
«ОБЕЛИСК» (отрывок).....	9
ВАСИЛЬЕВ Б.Л.	
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (отрывок).....	15
ГРАНИН Д.А.	
«МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» (отрывок).....	34
БОНДАРЕВ Ю.В.	
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (отрывок).....	53
СИМОНОВ К.М.	
«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (отрывок).....	100
КАПИЕВ Э.М.	
«ИЗ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ» (отрывок).....	107
«ИЗ ФРОНТОВОГО БЛОКНОТА» (отрывок).....	111
ШОЛОХОВ М.А.	
«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (отрывок).....	113
АВШАЛУМОВ Х.Д.	
Из сборника «НЕВЕСТА С СЮРПРИЗОМ».....	142

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА**

**«СЛАВЕ – НЕ МЕРКНУТЬ.
ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ!»**

Репертуарный сборник
в помощь КПУ, центрам культуры

Подготовлено
Республиканским Домом
народного творчества МК РД

РДНТ МК РД
367010, г. Махачкала,
ул. О. Кошевого, 35 «а»
(8722) 62-99-87, факс: 62-39-68
e-mail: rdnt35@yandex.ru
www.dagfolkultura.ru

*Копирование и использование данных материалов без ссылки на
Республиканский Дом народного творчества МК РД запрещены*

Для заметок

Для заметок